АЛЬМАНАХЪ

СѢВЕРНЫЙ КРЕСТЪ

основанъ
Михаиломъ Раузеромъ

aegitas

Альманах

Северный крест

«Aegitas»

2020

Альманах

Северный крест / Альманах — «Aegitas», 2020

ISBN 978-0-36-940330-8

«Въ самый разгаръ «фельетонистической эпохи» и – единовременно – «ариманическаго грѣхопаденія», въ столѣтіе Революціи кровяной, похоронившей на долгое время идеализмъ и съ успѣхомъ положившей во прахъ всё высокое, всё элитарное, я пожелалъ возродить на началахъ новыхъ журналъ символистскаго толка дореволюціоннаго образца, журналъ для немногихъ, ничего общаго не имѣющій со «штемпелеванной культурой»; журналъ, зачинаемый вѣяніями Серебрянаго вѣка – послѣдней творчески цвѣтущей эпохой русской словесности и подлинной интеллектуальной культуры …»

ISBN 978-0-36-940330-8

© Альманах, 2020
© Aegitas, 2020

Содержание

Михаилъ Раузеръ 5
EX ORIENTE LUX: Къ исторіи одного рожденія и одного заката 11
Прологъ 14
Часть I 16
Глава 1. Ира, или критское свиданіе 16
Глава 2. Общенародное празднество, или о людяхъ вящихъ 27
Глава 3. Нищіе, или кабацкія страсти 34
Глава 4. Имато и Касато: разговоръ царя и первѣйшаго изъ слугъ его 44
Глава 5. Акай, или начало страды 49
Глава 6. Смерть Имато 56
Часть II 62
Глава 1. Лабиринтъ, или дни несчастій 62
Глава 2. Послѣ смерти Акая, или на чуждыхъ брегахъ 71
Конец ознакомительного фрагмента. 75

Сѣверный крестъ
I

Михаилъ Раузеръ
Вступительное слово

Величайшія событія и мысли – а величайшія мысли суть величайшія событія – постигаются позже всего: поколѣнія современниковъ такихъ событій не переживаютъ ихъ – жизнь ихъ протекаетъ въ сторонѣ. Здѣсь происходитъ то же, что и въ царствѣ звѣздъ. Свѣтъ самыхъ далекихъ звѣздъ позже всего доходитъ до людей, а пока онъ еще не дошелъ, человѣкъ отрицаетъ, что тамъ есть звѣзды. "Сколько вѣковъ нужно генію, чтобы его поняли?" – это тоже масштабъ, это тоже можетъ служить критеріемъ ранга и соотвѣтствующимъ церемоніаломъ – для генія и звѣзды.
Ницше «По ту сторону добра и зла»

Плохо понимаетъ народъ великое, т. е. творящее. Но любитъ онъ всѣхъ представителей и актеровъ великаго. Вокругъ изобрѣтателей новыхъ цѣнностей вращается міръ – незримо вращается онъ. Но вокругъ комедіантовъ вращается народъ и слава – таковъ порядокъ міра.
Ницше «Такъ говорилъ Заратустра»

Въ самый разгаръ «фельетонистической эпохи» и – единовременно – «ариманическаго грѣхопаденія», въ столѣтіе Революціи кровяной, похоронившей на долгое время идеализмъ и съ успѣхомъ положившей во прахъ всё высокое, всё элитарное, я пожелалъ возродить на началахъ новыхъ журналъ символистскаго толка дореволюціоннаго образца, журналъ *для немногихъ*, ничего общаго не имѣющій со «штемпелеванной культурой»; журналъ, зачинаемый вѣяніями Серебрянаго вѣка – послѣдней творчески цвѣтущей эпохой русской словесности и подлинной интеллектуальной культуры (хотя отмѣчу, что наша преемственность шире); говоря иначе: нашей цѣлью было: создать (или: возсоздать) подлинно независимый, нетенденціозный, аполитическій, строго элитарный литературно-философскій журналъ: журналъ *для немногихъ*. – Альманахъ создавался *немногими для немногихъ*: не для современнаго читателя, но какъ діалогъ и благодарность воспитателямъ и возможнымъ будущимъ послѣдователямъ. – Журналъ возникъ не какъ реакція на омассовленіе и паденіе всего, относящагося къ сферѣ духа: онъ возникъ, потому что его создатель того желалъ: желалъ творить такъ, какъ считалъ наилучшимъ, хотя бы сіе и выглядѣло какъ пощечина общественному вкусу и нѣчто дѣемое наперекоръ современности или нѣчто смѣшное – несообразное вѣку сему. – Подлинное часто возникаетъ, когда его менѣе всего ждутъ. – И покамѣстъ міръ переживаетъ становленіе и расцвѣтъ всего сѣраго и мелкаго, полагающаго себя единственно важнымъ (ибо оно крѣпко стоитъ на ногахъ, а ноги стоятъ землѣ, и само оно – земля, земное), – мы плещемъ краски, подлинныя, яркія и глубокія.

Нынѣ добротному автору и печататься негдѣ: либо массовое нѣчто, либо строго комментаторское современное, научное; нигдѣ, почти нигдѣ нѣтъ журналовъ, сущностно похожихъ на многочисленные журналы вѣка Серебрянаго; нигдѣ нѣтъ духа [элитарнаго] творчества и дореволюціонныхъ вѣяній. – Археологія знанія во многомъ противопоставлена культурѣ; древо ея (культуры), древле воздѣлываемое и плоды дающее потому, нынѣ засохло; рядомъ растутъ сорняки и побѣги сорные: археологіи знанія; древо огорожено, оно стоитъ въ музеѣ, подъ стек-

ломъ. – Культура словно погибла, и гибель ея безвозвратна, какъ и всякая иная гибель; однако всё жъ мы полагаемъ: Огнь святый сталъ частію – уголькомъ, частію – тускло-горящимъ пламенемъ: огонькомъ болотнымъ; но онъ всё еще теплится; дѣло состоитъ въ томъ, что изъ огонька болотнаго содѣлать мощное и бурное пламя, багрянопылающее и ярколучистое…

Альманахъ – всецѣло модернистскаго толка и по преимуществу литературно-художественно-философской направленности; онъ воплощаетъ мысль не въ застывшихъ и косныхъ ея формахъ, но въ формахъ активныхъ и преобразующихъ. Традиція, по одному мѣткому высказыванію, есть передача огня, и культура подлинная прорастаетъ не въ каталогизаторской дѣятельности (вѣрнѣе, попросту: пустодѣйствѣ) современной гуманитарной науки (скажемъ, въ пустопорожней дѣятельности институтовъ философіи), которая по большей части есть не что иное, какъ обреченное на забвеніе комментаторство, изначально мертвое, не въ дѣятельности нашихъ традиціоналистовъ, что безъ традиціи, фундаменталистовъ, что безъ фундамента, равно и не въ новодельности постмодерна, – но въ живыхъ словахъ живыхъ, творчески продолжающихъ тѣ или иныя культурныя традиціи. – Творить, а не вторить (какъ комментаторы), быть, а не имѣть (въ смыслѣ Фромма).

Считаю здѣсь необходимымъ привести слова одного изъ нашихъ авторовъ, моего давняго собесѣдника, Евг. Анучина: «Реанимация Серебряного века сама по себе сегодня выглядит как дохлая лошадь. Нужно сказать, что те люди ушли, не дописав свое, не докурив последней папиросы. Мы считаем, что их дух требует преемственности, их пепел стучит в сердца страждущих. Разрыв времен был сделан ломом (против лома нет приема). Серебряный век пряно дышит декадансом, нужны новые краски, дабы не подправить образ, а переписать его заново <…> Ушедшие поколения передают нам не только реликты культуры, но и эстафету своего огня, коим пламенели их сердца. Они ждут от нас участия в поколенном сотворчестве с ними. Нет ничего вульгарнее, как сбрасывать с корабля современности благие завоевания культуры и искусства наших предшественников <…> В этом иной путь новизны – вместо руинизации прошлого его творческая реанимация. Картина запустения возникает там, где иссякла энергия воплощения или происходит новодельное репродуцирование».

* * *

«Сѣверный крестъ» продолжаетъ прерванную традицію дореволюціонныхъ символистскихъ журналовъ, которымъ «Сѣверный крестъ» наслѣдуетъ.

Это произошло, потому что сіе не могло не произойти; иначе и быть не могло. Возродился онъ, яко Фениксъ огненный, и у меня есть основанія полагать, что онъ просуществуетъ долѣе, чѣмъ дореволюціонные его собратья.

Мы разсматриваемъ дореволюціонное какъ свое и родное, какъ уровень и планку, какъ вѣчно-современное *немногимъ*, а не какъ умершее и окончившееся: пусть комментаторы изслѣдуютъ хронологическія рамки Серебрянаго вѣка: онъ живъ для насъ; мы надѣемся, что онъ живъ и для нашего читателя.

Се есть стрѣла въ слѣпого бога, подъ пятою коего – едва ли не всё человѣчество; се есть стрѣла въ него и архонтовъ его; се есть попраніе Тли. Мы совершили эпистрофе…

Обращеніе-возвращеніе къ дореволюціонному (нынѣ, на новомъ витѣ историческомъ – послѣ кроваваго энуреза длиною въ человѣческую жизнь), понимаемому не какъ реликтъ, но какъ вѣчно-живое, – «Отчего умирает культура? Одно можно сказать наверняка: она уже мертва, прежде чем её умерщвляют. И если её умерщвляют, то оттого лишь, что она уже мертва. Мертва же она там, где она забывает свое начало, как свое настоящее»[1], – можно уподобить детально проработанной неоплатонической тріадѣ: mone (пребываніе) – proodos (исхож-

[1] Свасьян К.А. *Европа. Два некролога*. М., 2003.

деніе) – epistrophe (возвращеніе). Сія тріада являетъ собой нѣчто характерное для европейской культуры уже начиная съ Гомера: вернуться къ своему прошлому (если оно не можетъ быть узнано – нарисовать его). Эпоху Серебрянаго вѣка мы опредѣлили какъ proodos, какъ эпоху дробленія, исхожденія изъ полноты изначальнаго: proodos, вылившись въ четкія формы и напечатлѣнья въ видахъ и типахъ искусства Серебрянаго вѣка, заглохъ въ своемъ импульсѣ, выродившись, либо сгибнувъ или застывъ. Возвращеніе, возвратный порывъ означаетъ не топтанье на мѣстѣ и не стагнацію, но иной витокъ по лѣствицѣ духа: лѣствицѣ, что не имѣетъ конца. Иными словами, эпистрофическія тенденціи (которыя и породили философію) не только благотворнѣйше вліяютъ на культуру, но и созидаютъ её[2]. – Но также и читатель долженъ совершить возвращеніе – эпистрофе: изъ горнихъ сферъ палъ онъ, родившись, и долженъ возвыситься вновь: въ горнее.

Я не могу обойти молчаніемъ Ю.А.Шичалина, написавшаго замѣчательную книгу «Античность – Европа – История», в коей вначалѣ разсматривается феноменъ возвращенія (эпистрофе) въ первой европейской культурѣ, и не дать ему слово: «В одном из поздних неоплатонических текстов, в комментарии Дамаския на «Филеба» Платона дается интересная оценка мифа о Прометее: Прометей не просто осуждается в своей деятельности, направленной на разрушение идеального образца, на отход от него к становлению (proodos), но и противопоставляется Эпиметею, который является символом возвращения к изначальной целостности (epistrophe) и потому достоин предпочтения. Ясно, что Дамаския занимает не сам миф, а его символическая значимость, проявившаяся уже в именах ПРОметея и ЭПИметея, но тем показательнее этот пассаж в целом <…> В неоплатонизме была разработана триада категорий, имеющая универсальный методический смысл и применимая к любому процессу <…> В случае, когда речь идет о том, что изъято из сферы времени, эти три категории характеризуют способы бытия по отношению к более высокому началу или к себе самому: изначальное пребывание в силу своей полноты провоцирует выступление за свои пределы, исхождение в сферу большей дробности, отступление от самого себя; а затем наступает процесс возвращения к себе, к изначальной целостности, причем в ходе этого возвращения достижение исходной полноты не отменяет смысла процесса исхождения, а впервые обнаруживает этот смысл в структуре целого. Разработка этих категорий, намеченных еще у Плотина, была произведена Порфирием и воспринята и развита Проклом и Дамаскием.

<…> Каждый шаг вперед оказывается действительным только в том случае, если в нем есть момент остановки и возвращения к тому, от чего он уводит. То, что вся история духовной жизни Европы есть история возвращений, – иногда к тому, чего не было [*въ исторіи; но что могло и можетъ существовать какъ идея* – М.Р.], – но что – именно в обращении к нему – обретает жизнь, – заставляет нас сегодня – для утверждения в собственном бытии и ради сохранения жизни – еще раз вернуться к самим себе и вновь пройти нехоженными путями нашей собственной мысли»[3].

Отмѣтимъ, что выработанная европейскою мыслью мысль объ этапахъ эволюціи того или иного вида, типа сущаго, хотя словно и имѣетъ въ себѣ нѣчто не могущее быть въ полной мѣрѣ корректно использованнымъ во временныхъ историческихъ условіяхъ (поскольку носитъ чисто метафизическій характеръ), вполнѣ примѣнима къ нашему случаю, который всецѣло – въ ея лонѣ.

---

[2] Но возвратный порывъ возвратному порыву рознь: одно дѣло, когда это обращеніе къ прошлому не предполагаетъ развитія, продвиженія впередъ (словомъ: меча) и, къ сожалѣнію, мы зримъ это нынѣ, въ эпоху духовной ночи, выказывающей себя приматомъ: демократіи и демократовъ, ноля и нолей, плоти, vagin'ы, заступающаго и крѣпнущаго матріархата… – короче безпросвѣтною нищетою; инымъ случаемъ является Ренессансъ и малый ренессансъ – Серебряный вѣкъ: онъ – мечъ и стрѣла, – когда само обращеніе къ прошлому, эпистрофе обернулось движеньемъ впередъ, поскольку было на него направлено: такова была воля творцовъ, опредѣлившихъ духъ того времени.

[3] Шичалин Ю.А. *«Античность – Европа – История»*. М. 1999.

* * *

Мы – авторы – люди, не имѣющіе то или иное ученіе какъ свою границу: мы устремлены быть шире и глубже.

Мы – противъ мертвящихъ вѣяній какъ матеріализма всѣхъ сортовъ, такъ и идеализма для массъ.

Мы не «православные», не «католики», не «протестанты», полоненные слѣпотой духовной и мракобѣснымъ фанатизмомъ: для насъ не вѣра (и не догма), но символъ есть вещей невидимыхъ обличеніе. Но мы религіозны – и много болѣе глубоко, нежели христіане историческіе: вспомнимъ Бердяева: «Леонардо да Винчи, Гете или Ницше болѣе излюбленныя дѣти Божьи, чѣмъ множество служителей историческаго христіанства», ибо «мука всякаго подлиннаго творчества есть мука религіозная».

Мы не масса: мы не немотствуемъ о главномъ: мы имѣемъ главное въ сердцахъ нашихъ.

Мы – не одно: я за то, чтобы не было одного направленья, но былъ діалогъ; чтобы не было "заказывающаго музыку" – одну, – но было нѣсколько мелодій, въ полифоніи и контрапунктѣ сливающихся въ симфонію. Наши авторы разныхъ міровоззрѣній и печатаются въ той орѳографіи, въ какой считаютъ нужнымъ.

Однако есть и общее для насъ направленіе въ культурѣ – символизмъ. Символизмъ – то что объединяетъ авторовъ; се путеводная наша звѣзда. Символъ – вездѣ и нигдѣ, внутри насъ и внѣ насъ. Символомъ пропитана насквозь вся культура съ самого ея начала: всѣ пророки мудрствовали, облекая мудрость свою въ символъ; всѣ люди науки используютъ символъ; даже лепетанье юнца – и то исполнено символизма. Символъ – и только символъ – зачинаетъ Личность въ человѣкѣ. Символъ – то, что возводитъ насъ къ Единому, это искры Отчаго, изображенія тамошняго въ здѣшнемъ, Единое-внутри-насъ[4].

Иное общее для насъ: вѣрность Духу и вѣрность Истинѣ, свои стези, взбираніе по лѣствицѣ Духа на свой манеръ и внѣ византійства сознанія, внѣ нѣмецко-протестантской буржуазности, внѣ галло-римской либеральности.

Мы не тѣ, кто дѣлитъ, дѣлитъ, дѣлитъ, и въ семъ дѣленіи видитъ нѣкій "прогрессъ": такова наука. – Мы объединяемъ: философію, словесность, мистику, религію. И въ этомъ смыслѣ продолжаемъ тѣ традиціи русской словесности, кои отмѣтилъ въ свое время Штейнеръ[5]. – Рѣчь идетъ объ образцахъ высокаго слова, ничего общаго не имѣющихъ съ белле-

---

[4] Евангеліе отъ Филиппа: «Истина не пришла въ міръ обнаженной, но она пришла въ символахъ и образахъ. Онъ не получитъ её по-другому». – Ср. съ: «Символъ – окно въ вѣчность» (Андрей Бѣлый), а также съ: «Символъ – окно въ безконечность» (Ф.Сологубъ). Сюда же: Бѣлый вполнѣ осознавалъ: «Символизмъ – это методъ выраженія переживаній въ образахъ. Въ этомъ смыслѣ всякое искусство явно или скрыто символично». «Символъ есть предѣлъ всѣмъ познавательнымъ, творческимъ и этическимъ нормамъ: Символъ есть въ этомъ смыслѣ предѣлъ предѣловъ». «Всякое искусство символично – настоящее, прошлое, будущее». «Символизмъ подводитъ искусство къ той роковой чертѣ, за которой оно перестаетъ быть искусствомъ; оно становится новой жизнью и религіей свободнаго человѣчества» (Андрей Бѣлый). «Это новотворимое энергіей символизма – религія, не имѣющая ничего общаго съ міромъ традиціонныхъ религій». И: «смыслъ искусства (явно или скрыто) религіозенъ» («Смыслъ искусства», 1907). «Мы должны… преодолѣть всѣ формы религіознаго, – прямо говоритъ онъ въ «Эмблематикѣ смысла», – характеръ преодолѣнія формъ религіозной культуры есть религія sui generis; образное выраженіе этой религіи въ эсхатологіи; религія Символа въ этомъ смыслѣ есть религія конца міра, конца земли, конца исторіи…». «Символизмъ, стоявшій передо мною какъ стройная теорія знанія и творчества, былъ символомъ вѣры и знанія новой эпохи, обнимающей, можетъ быть, столѣтія будущаго». Въ статьѣ «Проблема культуры» (1909) онъ напишетъ: «Вдохновители литературной школы символизма… провозглашали цѣлью искусства пересозданіе личности… творчество болѣе совершенныхъ формъ жизни». И тамъ же: «Послѣдняя цѣль культуры – пересозданіе человѣчества».

[5] Штейнеръ въ своей берлинской лекціи отъ 19 іюня 1917 г., говоря о книгѣ А.Бѣлаго, отмѣчаетъ слѣдующее: «Один из наших друзей попытался соединить написанное мною в моих книгах о Гёте с тем, о чем я однажды говорил здесь в лекциях о человеческом и космическом мышлении. Он написал об этом книгу по-русски, очень необычную русскую книгу. […] Я убежден в том, что среди определенного круга людей книга эта будет чрезвычайно много читаться. Но если бы ее перевели на немецкий или другие европейские языки, то люди нашли бы ее смертельно скучной, так как у них нет никакого органа для ювелирно выгравированных понятий, для чудесной филигранной отделки понятий, которая в этой книге бросается в глаза. Вот

тристикой и фельетономъ, этими порожденіями мастеровъ общедоступнаго, но родственныхъ всему высокому – отъ миѳическаго Орфея до послѣднихъ, единичныхъ образцовъ высокаго въ XX–XXI вв., остальное – для бѣдныхъ (любого рода). Сказанное означаетъ: не философія (нынѣ лишенная эстетическаго измѣренія), не наука (не вѣдающая истоковъ собственныхъ), не искусство и не поэзія (лишенныя философскихъ глубинъ, слишкомъ мелкія и неглубокія часто, слишкомъ часто), не мистика (забывшая о трезвой осмотрительности), – но синтезъ: философіи, науки, поэзіи, искусства, мистики.

Инымъ общимъ для насъ является непріятіе пластмассоваго и бескрылаго нашего времени, непріятіе духа эпохи, непріятіе хаоса, непріятіе нечестія и безсмыслицы постмодерна, его абсолютной непріемлемости во всѣхъ отношеніяхъ. Потому на нашемъ стягѣ написано: прочь отъ постмодерна – къ модерну и до-модерну.

Мы не пасынки постмодерна, онъ пошлъ для насъ. Мы беремъ отъ модерна и до-модерна ту не могущую быть растраченной энергію символа, которая не можетъ быть отмѣнена, или осмѣяна, или пародирована тѣмъ или инымъ видомъ постмодерна и должна быть проявлена – нами. И Вѣчность для насъ – нѣчто вожделенное, а современность (для многихъ изъ насъ) – лишь саркома на тѣлѣ исторіи. Иными словами: мы бунтуемъ противъ временнаго во имя Вѣчности и ради Нея лишь и созидаемъ нами творимое[6]…

Многое (но, конечно, далеко не всё) публикуемое въ нашемъ альманахѣ роднитъ съ Серебрянымъ вѣкомъ не только вышеперечисленное, но и тщанія иныхъ авторовъ возогнать эстетику до уровня мѣняющей дѣйствительность мистеріи, возогнать Слово до уровня теургіи, тщанія въ Словѣ явить синтетическое искусство…Мы чаемъ, что не всё потеряно, что многое еще возможно…но выздоровленіе духовное должно быть зачинаемо немногими, чтобы не сказать однимъ[7]. – Не бороться съ упадкомъ культуры (то есть не творить) означаетъ способствовать дальнѣйшему «ариманическому грѣхопаденію»; и не бороться съ Ариманомъ – хотя бы и только въ себѣ самомъ – означаетъ быть союзникомъ онаго.

Пребывание в фазе proodos можно, конечно, продлить на пару столетий пока есть кому любоваться реликтами уходящей высокой культуры, запечатленной в её вершинных образцах за минувшие века. Но это вызывает жалость, а не воспарение духа, как старческое бодрячество в попытке затянуть процесс агонии увядания. Мне мнилось, что трагизм и победоносность человеческого существования дополняют друг друга. Однако, это не соответствует взглядам неоплатоников, провидящих глубже. Ряды пневматиков редеют и мы видим, что почти некому встать рядом с М.Раузером, дабы подхватить пламень его мыслей. Кто сегодня способен следовать за Прометеем?». – Героическая – въ своей невозможности – задача: сперва вступить въ діалогъ съ безсмертными, но не какъ комментаторъ, историкъ и біографъ, не какъ примагничивающіеся ко всему авторитетному современные почитывающіе и даже читающіе, но какъ равный (а прежде – ставъ равнымъ), а послѣ объяснить, чѣмъ отличается недопроявленность минувшихъ эпохъ отъ пресловутой ретроспективы; но вступить въ діалогъ съ современными

это-то и совершенно необычно, что в развивающемся русском характере выступит нечто совсем иное, чем в прочей Европе, что мистика и интеллектуальность будут жить в нем не раздельно, как в прочей Европе, а […] появится нечто абсолютно новое: интеллектуальность, которая в то же время есть мистика, и мистика, которая одновременно есть интеллектуальность». (Steiner R. *Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten*. Dornach, 1982, S. 59f. Переводъ К.Свасьяна).

[6] "Вся творческая активность, творящая новое, должна быть направлена не на будущее, которое предполагаетъ заботу и страхъ и не преодолѣваетъ окончательно детерминизмъ, а къ вѣчности. Это есть движеніе, обратное ускоренію времени. Оно отличается и отъ ускоренія времени, связаннаго съ техникой, и отъ печали и меланхоліи, связанной съ пассивно-эмоціональнымъ переживаніемъ смертоноснаго времени" (Н. Бердяевъ).

[7] Анучинъ Евг. *Изъ частныхъ бесѣдъ*: «Эпистрофические тенденции – альтернативный путь развития не через гегелевское отрицание отрицания, а через содержательный взаимообогащающий диалог культур, через сохранение той целостности мифа, который для этого самого самосохранения должен иметь постоянную подпитку – эстафету от потомков к предкам. Жар мифа, переходя из прошлого ради настоящего, греет души живущих вне линейного потока времени. Прошлое становится реликтом тогда лишь, когда вместо диалога культур в диахронистическом плане возникает пошлое туристическое культпотребительство.

какъ терпѣливый учитель – здѣсь недостаточно. Исторія покрывается бѣлыми пятнами, когда она неправильно проявлена или вообще въ главномъ недопроявлена. Именно такъ обстоитъ дѣло съ Серебрянымъ вѣкомъ.

P.S. Мы, однако, будемъ рады всѣмъ авторамъ и – шире – силамъ, способствующимъ подлинному ренессансу культуры, водворяющимъ ладъ на областяхъ разлада, споспѣшествующимъ начинаніямъ нашимъ. – Ренессансъ былъ явленіемъ, рожденнымъ тѣмъ самымъ возвратнымъ порывомъ, о коемъ упоминалось выше, явленіемъ, даровавшимъ міру много плодовъ – сладкихъ, какъ медъ, и горькихъ, какъ полынь. Онъ былъ исходомъ изъ мрака, изъ застоя, оставаясь самымъ яркимъ примѣромъ выхода изъ культурнаго тупика и понынѣ; былъ онъ удачною попыткою обернуться назадъ, и окинуть взглядомъ пройденный великій путь, и, переосмысливъ его, содѣлать возвратный порывъ къ – казалось бы – давно ушедшему. Намъ представляется, что нынѣ ренессансъ въ тѣхъ масштабахъ невозможенъ въ силу многихъ условій. Но всё же мы полагаемъ: на ренессансъ въ охватѣ меньшемъ можно (и надобно) уповать. Добавимъ, что культурѣ онъ необходимъ нынѣ болѣе всего прочаго. Его созиданіе есть борьба ожесточенная съ тѣмъ мракомъ, съ тѣмъ засиліемъ "новыхъ формъ", уродливыхъ формъ и нормъ постмодернизма, гореносныхъ и горородныхъ, и прочихъ разновидностей открыто явленнаго абсурда. Возрожденіе новое (возрожденіе, рожденное *немногими для немногихъ*) возмогло бъ отвоевать у Времени черту положенныхъ сроковъ, – проливши в міръ сей свѣты горніе, – отложить на время окончательное торжество уже заступившаго Хаоса, конечной побѣды коего не миновать и вовѣкъ не избѣгнуть… – Въ сердце печали льются в часъ недобрый – когда Солнце не кажетъ себя, всё въ тучахъ, въ темяхъ, мглѣ…но наше дѣло – не отдаваться скорбямъ, не пассивно-униженно ждать небесъ рѣшенье, но съ подобающимъ всему высокому достоинствомъ встрѣтить неотвратимое и, – презрѣвши дольнее и отложивши попеченіе о немъ, – обрушить гневы свои – на него, парируя неожиданные его удары, ибо мы есмы чада Свѣта, и намъ подобаетъ свѣтить ярко, не становяся блѣднѣе – никогда, никогда…

EX ORIENTE LUX: Къ исторіи одного рожденія и одного заката
Поэма въ прозѣ
Пролегомены къ «Послѣднему Кризису»

Посвящается:
– А.Бѣлому и К.Свасьяну, тѣмъ изъ очень немногихъ космистовъ, до которыхъ мнѣ болѣе всего есть дѣло,
показавшимъ русскому языку,
какимъ онъ можетъ быть въ своихъ вершинахъ,
Учителямъ, во многомъ измѣнившимъ меня и указавшимъ мнѣ стези если и не неложныя, то многоцѣнныя, чреватыя своими стезями.
– В.Александрову, коего мнѣ – среди прочаго — стоитъ поблагодарить за неоцѣнимые совѣты, безъ коихъ сія поэма была бы вовсе иною; равно какъ и за измѣненья меня – едва ли меньшія, чѣмъ измѣненія вышеупомянутыя.

Въ вѣкахъ я спалъ… Но я ждалъ, о Невѣста, —
Сѣверъ моя!
Я всталъ
Изъ подземныхъ
Залъ:
Спасти —
Тебя.
Тебя!

Мы рыцари дальнихъ странъ: я – рогъ,
Гудящій изъ тьмы…
Въ сырой,
Въ дождевой
Туманъ —

Несемся
На сѣверъ —
Мы.

На крутыя груди коней кидается
Чахлый кустъ…
Какъ ливень,
Потоки
Дней, —

Какъ бури,
Глаголы
Устъ!

Плащъ семицвѣтіемъ звѣздъ слетаетъ
Въ туманъ: съ плеча…

Тяжелый,
Червонный
Крестъ —

Рукоять
Моего
Меча.

Его въ пустые края вознесла
Стальная рука.

Стькли
Мечей
Лезвія —

Не вѣтеръ:
Года.
Вѣка!

2
Тебя
Съ востока
Мы —

Идемъ
Встрѣчать
Въ туманъ:

Вѣрю, – блеснешь изъ тьмы, рыцарь
Далекихъ странъ:

Слышу
Топотъ
Коней…

Зарей
Багрянѣетъ
Кустъ…

Слетаетъ изъ блѣдныхъ дней призывъ
Гремящихъ устъ.

Тяжелъ
Желѣзный
Крестъ…

Тяжела
Рукоять
Меча…

Въ туманъ окрестныхъ мѣстъ дымись,
Моя свѣча!

Вѣрю, —
Въ года,

Въ впька, —

Въ пустые
Эти
Края

Твоя стальная рука несетъ
Ударъ копья.

А.Бѣлый, 1911

5. Ея милый профиль ярко вырисовывался на фонѣ ясно-голубой, звѣздной ночи.

6. Въ полуоткрытомъ ртѣ и въ печальныхъ синихъ глазахъ трепетали зарницы откровеній.

7. Иногда она низко склонялась, покорная и вся бѣлая, и вновь подымался ея силуэтъ надъ голубымъ, вечернимъ міромъ.

8. Такъ она молилась. Надъ ней сіялъ серебряный полумѣсяцъ.

А.Бѣлый

Въ Бездну
Безвременья
Падай,—
– Изъ бездны
Безвременья,—
– Неперемѣнною смѣной,—
Кольцо
Бытія!
Прядай,
Сѣдая
Струя —
– Изъ безвременья —
На бытіе мое!
Ты, – незнакомое
Время,
Обдай мнѣ лицо
Своей
Пѣною!
Мертвенный нѣмень,—
Рыдая,
Я
Падаю!
Времени
Нѣтъ уже…
Падаю
Въ эту же —
– Бездну
Безвременья.

А.Бѣлый, 1929

Изъ зыбей зыблемой лазури,

Когда отвѣяна лазурь, —
Сверкай въ незыблемыя хмури,
О, мѣсяцъ, одуванчикъ бурь!
Тамъ – обезславленные боги
Исчезли въ явленную ширь:
Туда серебряные роги,
Туда, о мѣсяцъ, протопырь!
Взирай оттуда, мертвый взоричъ,
Взирай, повѣшенный, и стынь, —
О, злая, бѣшеная горечь,
О, оскорбленная ледынь!
О, тѣнь моя: о тихій братецъ,
У ногъ ты – вотъ, какъ черный котъ:
Обманешь взрывами невнятицъ;
Возстанешь взрывами пустотъ.

А.Бѣлый, 1921

Брилліантовые узоры созвѣздій неподвижны въ черномъ, міровомъ бреду, гдѣ всё несется и гдѣ нѣтъ ничего, что есть.

Земля кружится вокругъ Солнца, мчащагося къ созвѣздію Геркулеса!

А куда мчится созвѣздіе Геркулеса?

– Сумасшедшая пляска бездоннаго міра.

А.Бѣлый, 1910

Нашъ міръ – Творца ошибка, плохой пріютъ на часъ…

О.Хайямъ

Прологъ

Громъ необорный – въ рань сѣдую временъ – сотрясалъ небесную твердь, не щадя живота своего, вперяя себя въ твердь земную и ярясь безъ мѣры; сыпались звѣзды и капли, предѣловъ не вѣдая; треволненія множились; яркожалая молнія била нещадно. И Солнце, затмившись, меркло днями, и рушились скалы, глыбы свои роняя во прахъ; море, волнуясь, яростною пѣною волнъ накатывало себя на брега, словно тщась размолоть, поглотить дрожащую твердь, яростью кипя, злобою судьбы бросало себя на брега, и сушь погребалась волнами; всё колеблемо было Судьбою. Окоемъ, словно Вѣчности святой необъятность, изошелъ мракомъ священнымъ. Твердь небесная сотрясалася во страхѣ, Критъ трепеталъ, и дрожала Матерь-Земля въ родовыхъ своихъ мукахъ; древа ярилися и порою сгорали до тла; лепестки пламени были зримы…

И надъ просторомъ Земли послышался плачъ – сквозь шумы и громы – на древѣ: отъ отца и отъ брата сокрытый младенецъ, Криторожденный, возступалъ: въ жизнь; и ею низвергся: въ нее. И слышенъ былъ подъ блеянье козы въ лугахъ разнотравныхъ, овѣваемыхъ вѣтромъ знойнымъ, сухимъ, предвѣщавшимъ еще большія, вящія бури, грозы и бѣды, – гласъ. И гласъ непокорный, несытый, дерзновенный, алчущій власти, начальствовать алчущій, – буйствовалъ, мятежась, будучи скованъ шумомъ окрестнымъ, но вторьемъ раздавался окрестъ: вопреки гнѣвамъ природы. Безсилела злоба стихіи, умолкала, и – ея, не дитяти – гласъ умолкалъ, покоясь, нѣмѣя: словно подавала надежду, милость рождая, потухая, – природа, и изсѣченье ея затухало; и покой снисходилъ долгожданный. Зыблема рокомъ, отдыхала природа, ободряясь

покоемъ, залѣчивая прободенные свои покровы: несмѣтныя жертвы дарила – счастливо схороненному младенцу-отцу…

Се – слышно припаденье устъ младенца, мокровласаго, беззащитнѣйшаго къ щедродарному вымени, жадное въ страсти своей. И Солнце, дотолѣ тьмою словно за руку держимое, зыблемое, – впервые – ярчело. И зиждилось пресуществленіе младенца, отъ отца матерью прячемаго, – въ Громовержца-отца.

Рождался иной близъ Иды-горы, кто ежель удѣлъ свой имѣетъ, то удѣлъ его – повелѣвать, слѣдить за порядкомъ божественнымъ и его водворять. Бездны Хаоса глядѣли въ слѣпое его лицо. Гордо взиралъ на окрестное божественный юнецъ.

День возставалъ ото сна, и множились тѣни. Дитя тайнорожденное улыбалося новому дню, играясь съ куретами, его забавляющими плясками, Великой Матери слугами, которые, случись дитятѣ всплакнуть, бряцали шеломами да щитами: таково было козы повелѣнье, нянчившей юнаго бога, милостью чуда оставшагося въ живыхъ, матерью отъ отца спасеннаго: отца, вѣдающаго судьбу свою и потому страшащагося разящаго превосходства сына, что долженъ родиться; судьбы избѣгнуть тщился отецъ, пожирая дитятъ своихъ, ужаснѣйшій, свирепѣйшій, кровоалчный. Когда – незадолго до сего – рождалося дитя – куреты подняли шумъ небывалый, всеоглушающій, безмерномощный, дабы заглушить крики бога рождающагося, отводя отъ него гибель грозящую: быть заживо пожраннымъ собственнымъ отцомъ и найти смерть во чревѣ отчемъ; нынѣ въ толикомъ шумѣ нужды не было: избѣгнувъ Судьбы, взрослѣло дитя и плакало всё рѣже. Но дитятѣ много, много позднѣе суждено быть низверженнымъ сыномъ своимъ, какъ низвергнетъ и самое дитя – отца своего: и дитя, и отецъ его, и отецъ отца – всѣ низвержены собственными же сынами. Коза была повзрослѣвшимъ премного одарена: служившаго до самой ея кончины пса златого въ даръ ей принесъ ею вскормленный, ею спасенный; послѣ смерти своей будетъ вознесена она на небо, претворившись въ звѣзду, рогъ ея претворится въ рогъ изобилія, а шкура – въ эгиду: обтянутый ею щитъ поможетъ еще юному богу послѣ въ сечахъ съ титанами, щитъ, изъ-за котораго нарекутъ люди ея обладателя Эгіохомъ: Эгидодержцемъ.

Въ тотъ достопамятный день – когда рождалося дитя – не свѣтъ явилъ себя тьмою, но тьма – свѣтомъ.

Часть I
Картины изъ жизни позднеминойскаго Крита. Къ исторіи одного заката

Островъ есть Критъ посреди виноцвѣтнаго моря, прекрасный,
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный;
Тамъ девяносто они городовъ населяютъ великихъ.
Разные слышатся тамъ языки: тамъ находишь ахеянъ
Съ первоплеменной породой воинственныхъ критянъ; кидоны
Тамъ обитаютъ, дорійцы кудрявые, племя пеласговъ,
Въ городѣ Кноссѣ живущихъ. Миносъ управлялъ имъ въ то время,
Въ девятилѣтіе разъ общаясь съ великимъ Зевесомъ…

Гомеръ

Мивы ловятъ боговъ, какъ сѣти – рыбу. Люди плохіе рыбаки: боги уходятъ отъ нихъ. Но и пустой мивъ всё еще пахнетъ Богомъ, какъ пустая сѣть – рыбою.

Средиземное море, связующее три части свѣта, Европу, Азію, Африку, есть въ самомъ дѣлѣ середина, сердце земли. Въ немолчномъ ропотѣ волнъ его бьется сердце человѣчества. Вѣка и народы, тѣснясь, обступаютъ его, окружаютъ круговою пляскою, какъ хоръ Нереидъ, и пѣнится «темно-лиловая соль» его, какъ амброзія въ чашѣ боговъ. Если провести двѣ линіи, одну отъ Мемфиса до Константинополя, другую – отъ Вавилона до Рима, то получается крестъ, какъ бы тѣнь Креста Голговскаго. Всемірная исторія и совершается подъ этимъ крестнымъ знаменіемъ.

Мережковскій

Глава 1. Ира, или критское свиданіе

Ира, дѣва пришлая, свободная дѣвушка критская, родомъ изъ дикаго народа, впослѣдствіи ставшаго всѣмъ извѣстными греками, изъ Ахейской земли, многогорной и юной, суровой, шла по лугамъ критскимъ, по неоглядным «землямъ добрыхъ» (какъ тогда говорили о Критѣ сами критяне, которые, впрочемъ, всегда лгутъ, какъ увѣряетъ насъ Эпименидъ-старецъ), погруженная въ печали, нѣжно-опаленная дыханьемъ Іюлія Іюньевича, и грустно было лицо ея; вѣтеръ развѣвалъ непокорно-вьющіяся, роскошно-густыя ея кудри, подобныя шерсти лучшаго барана изъ царской кошары; огромные, льдяные, но вмѣстѣ съ тѣмъ и внемлющіе всему глаза ея были словно по-куриному широко отверсты; они уже не удивлялись всему что ни есть, но были они еще полны желаній и мечтъ: о жизни новой. День былъ прекрасенъ, божественъ: воля, раздолье! – Безмятежный Критъ, обитель красы юга; покой безмолвный – какъ пустыня. О, этѣ золотящіяся, точно колышемая нива, критскія дали, овѣваемыя поцѣлуями природы: морскими вѣтрами, безсмертно-юными и вѣчно-свѣжими, – чаекъ лётъ да мѣрное торжественно-величавое пѣнье неумолимаго моря – любимѣйшая изъ пѣсенъ Солнца; того и гляди – заслушается сей пѣснею не устающее вседневно бросать прямые лучи, свѣтящее въ полною силу Свѣтило, и безъ того предолго гостящее на небосводѣ въ безконечно-яркіе тѣ дни, – да забудетъ вовремя окунуться за окоемъ, гдѣ ширь небесная сливается съ ширью земною…О, это небо: не небо, но безкрайняя пустыня неба; воленъ аэръ на Критѣ и широка душа. На тверди

небесной ни облачка, полною грудью дышало всё живое, а луга упирались въ бросавшіе длинныя, властныя тѣни дерева да кусты, полные дивной тайны и нѣги: оливковые да виноградные, о коихъ знавали и въ ту пору по всему Средиземноморью; были тѣ не всегда нѣжно цѣлуемыя вѣтрами дерева подлинными царями да царицами Солнцемъ обильнаго Крита. Золото листвы ихъ слѣпило глаза, и были листья ихъ – какъ луны. Вдали виднѣлся и кипарисъ: священное древо. Луговыя благоуханія обволакивали всё болѣе и болѣе хмелѣвшую Иру, купавшуюся въ нихъ подобно птицѣ, разсѣкающей, рѣжущей эѳиръ въ жестѣ восторга. Подобно тому какъ гады морскіе рѣзали твердь водную, ласточки, рѣзвясь, темными вздрагивающими крестами безпорядочно прорѣзали, словно купаясь въ мрѣющихъ аэрахъ, необъятную твердь небесную, то нисходя до самой тверди земной, то уносясь въ безпредѣльныя выси, къ нѣдрамъ небесъ. Исполненныя визгливаго восторга созданія природы вносили иное измѣренье къ видамъ критскимъ, обогащая ихъ не только молніеносною хаотичностью движеній, но и своими криками. Была зрима и одиноко зависшая въ аэрахъ нѣкая хищная птица, медленно кружащая вкругъ точки незримой, мѣняющей, однако, мѣстоположеніе свое въ пространствѣ. Но вотъ уже и она скрылась изъ виду, пропала въ безконечности небесъ – мѣрный взмахъ крыла подымалъ её всё выше. – Всюду біеніе жизни, и всё зыблемо въ зыбь: полнотою жизни. Вотъ откуда лѣтъ себя воля критская, вотъ сердце Крита; пусть говорятъ, державный Кноссъ – сердце его: стоитъ лишь взглянуть на пространства сіи, чтобы отдать и свое сердце подлинному сердцу Крита.

Но лишь отрѣшившійся отъ чувственнаго возмогъ бы осознать: за внѣшнею безбрежною безпорядочностью природы скрывается внутренняя ея мѣрность, которую можно принимать, её познавая или же въ ней растворяясь, а можно – ея отвращаться, ею тяготясь. Поверхъ поверхности – красокъ и формъ – таилися смыслы, слагающіе сущность. И мѣрность была однимъ изъ нихъ. – Природа молилась создавшему: пѣньемъ птицъ, игривымъ вѣтромъ, шумомъ волнъ морскихъ, шелестомъ листьевъ, теченьемъ рѣдкихъ облакъ.

Подходя къ родному селенію, съ Ирой завела бесѣду казалось бы одна изъ тѣхъ непримѣчательныхъ и малоотличныхъ межъ собою критскихъ матушекъ, которыхъ можно было встрѣтить въ любой изъ критскихъ деревушекъ, въ которыхъ онѣ если и не царицы, то управительницы и люди почитаемые на селѣ, отъ которыхъ немногое да зависитъ; та, знаете ли, середина, гдѣ рождается пошлость, а, родившись, царствуетъ: та пошлость, что сперва отрицаетъ, а послѣ срѣзаетъ всѣ вершины, случись этимъ вершинамъ быть не дольними, а, скажемъ, горними, не здѣшними, а тамошними; та пошлость, которая родомъ изъ царства количества и знать не желающая о царствѣ качества. Эта же критская матушка, женщина зрѣлыхъ лѣтъ, одѣтая если и не въ колоколоподобную юбку съ преузкой таліей и преглубокимъ декольте (подобалась она только жрицамъ и придворнымъ дамамъ: женщинамъ высшаго свѣта), то одѣтую всё же въ одежды не безъ намека на колоколоподобность, узость таліи и декольте (какъ знакъ ея достоинства), – отличалася отъ прочихъ не только болтливостью неуемной, которая была въ частности слѣдствіемъ ея любопытства, и спѣшностью говора, что вообще не было свойственно людямъ тѣхъ, крайне отдаленныхъ отъ насъ эпохъ, невозвратимыхъ, но и близостью къ одному изъ критскихъ дворцовъ, гдѣ порою видѣлась и со знатью. Стоитъ ли удивляться, что она и начала разговоръ, только завидѣвъ дѣву младую:

– Почто рыдаеши? Почто сердцемъ кручинишься, радость моя?

– Сплошныя мысли въ головѣ, но мыслями сытъ не будешь, мысли – хуже обморока: была жизнь, а нынче – обморокъ. Я чувствую, стало быть, жива я. Также и: меня ищутъ, стало быть, жива. Но кто ищетъ меня нынче? Кому нужна я? – говорила Ира, а послѣ добавила, подавляя слезы: – Ахъ, тетушка, отвергли меня!

– Вновѣ?

– Вновѣ, кормилица. Вновѣ! Травы льнутъ къ тѣлу, пасть бы въ лоно природы, забывшись, но міръ сердечный покоя не даетъ, терзаетъ. Гибель ждетъ меня!

– О Мати преблагая! – широко раскрывъ глаза и размахивая порою руками, испрашивала названная кормилицею. – Да ты жъ первая дѣвка въ селеніяхъ окрестныхъ; да о тебѣ полъ-Крита вѣдаетъ, вѣдь вторымъ Солнцемъ себя лучишь, не иначе! Кто жъ отвергъ?

– Къ чему обликъ мой, ежель я вся – печаль, и боль, и страданіе? Словно Мать меня покинула, ушла изъ сердца.

– Мать съ тобой! Да какъ такое быть-то можетъ! Я тебя спрашиваю: кто отвергъ? Кто сей безумецъ, иль слѣпецъ, иль то и другое вкупѣ?

– Господинъ, – опустивъ очи долу, молвила Ира.

– Оно ясно, что господинъ, а не слуга, хотя и господа Отцу великому слуги суть. Такъ кто? Кто?

– Касато самъ, – отвѣтствовала дѣва и разрыдалась.

Утишая её и прижавъ къ себѣ, матушка приговаривала:

– Ты потише-то произноси всеблагое его имя, дурена: людъ ходитъ тута, не однѣ, чай. Охъ, куды дѣвка-то мѣтитъ: въ небо. Милая, всё жъ знать свое мѣсто, богинями да богами намъ дарованное, надобно. Знать и не забываться. Ты, однакожъ, успокой сердце свое. Ужели и въ наложницы не взялъ онъ? Дѣвы – дщери Матери, земныя богини, намъ коли быть въ услуженіи, то у самыхъ вящихъ.

– А я суженою его хочу быти. Сердцу не прикажешь, полонилъ меня Самъ безъ остатку, а онъ…

И послѣ сего разрыдалася пуще прежняго.

– О Мати! – приговаривала кормилица. – Ой возгордилася дѣвка паче мѣры всяческой, ой возгордилася. Нехорошо: богини прогнѣваются. Ишь куда мѣтишь: говорю же: въ небо. Да не мѣтишь, а свалить его на землю желаешь. Нехорошо. Это жъ когда оно видано было, чтобъ первѣйшій изъ слугъ Самого снисходилъ къ простой? Коли бы такое было, то людъ запомнилъ бъ и изъ устъ въ уста передавалъ.

– Я не простая, не простая я: золотая. Потому хочу въ палатахъ каменныхъ сидѣти, чертоги мраморные видѣти вседневно.

– Царевна ты, что ль? Уязвлена она, ишь ты, аки благородная. Смотри у меня. Вся бѣда отъ того, что въ дѣвкахъ ты засидѣлася, глава вся – въ мечтахъ, аки въ омутѣ, – не по-критски поспѣшно изливала рѣчи старшая. – Такъ, пора тебѣ дурь изъ башки-то повыбить. Иди работать, золотая. Работа бо – средство лучшее противу страстей пагубныхъ, противу бурленья крови, младой, юной, противу вздоховъ души, слезъ, горестей, сердца излишне трепетнаго. Мало ль тебѣ любви своего любовника?

– Сердце горячее имѣю, хотя обликомъ хладна, – говорило дитя земли.

– И о Маломъ лучше не забывай; ей, вспомяни, како любитъ тебя, эхъ, како любитъ-то! Еще Мудроватый, изобрѣтатель, мужъ ученый, души въ тебѣ не чаетъ.

– Что вы всё о Маломъ да о Маломъ! Его и отродясь, и понынь Малымъ кличутъ: всё не выросъ. Не любъ онъ мнѣ, а Мудроватый – чудакъ, кому до него какое дѣло? У него, быть можетъ, и сердце золотое-презолотое, но и до сего никому на Критѣ дѣла нѣтъ: сердце – не подвѣска златая. А Касату никто изъ сердца не вытѣснитъ! – сокрушалась дѣва юная.

– А что? Первый молодецъ, хоть и росточкомъ и не вышелъ: кто жъ еще писцомъ служитъ во Дворцѣ изъ нашего сословья? Ой молодецъ Малой, ой молодецъ. Говорю тебѣ снова: души въ тебѣ не чаетъ. Да и что одной-то по міру шляться – и краса меркнетъ дѣвичья и заправлять некѣмъ; въ твои, душенька, руцѣ муженекъ пойдетъ, аки бычокъ на закланье. Прибылей-то сколько – не счесть: всё, всё жъ дѣять будетъ, всю работу и грязную, и чистую.

– Вѣдать вѣдаю, что не чаетъ. И вѣдаю, что пойдетъ, аки бычокъ на закланье. И не пойдетъ, а побѣжитъ. Но къ чему? Къ чему? Теперь мнѣ жизнь вся опостылѣла.

– Да я вѣдь тожъ много годинъ тому назадъ была красавица писаная. Такъ что жъ: взяла себѣ мужа – и рада. Мужи вѣдь – безхребетны, нѣжны, травоядны. Не то мы, дѣвы да жены: съ норовомъ, священно-жестоки, хищны. Добродѣтель ихъ – послушаніе, смиреніе, сокрушеніе сердечное, рождающія умиленіе; наша добродѣтель – умѣніе повелѣвать, властвовать, первенствовать.

– Вѣдаю, что скромность и покорность – главная ихъ добродѣтель. Но…

– У насъ работа одна – быть краше всѣхъ, корить, хулить, бранить мужей: во имя Матери!

– Да, то ихъ доль! – словно приходя въ себя и оживляясь, сказала Ира и топнула ножкой.

– Недоль!

– Пусть такъ.

– Хоть и грошь имъ цѣна, возьми себѣ ты мужа.

– Но ты не разумѣешь: люблю я его, Касату, – и снова разрыдалась Ира, какъ прежде.

– Дѣловъ-то: иди въ наложницы.

– А я чистой быти хочу. Подъ вѣнецъ хочу. Нѣшто достойна я со своею красою, коей и на всёмъ свѣтѣ не сыщешь, ублажать господина своего наравнѣ съ дѣвами прочими? Не такая я.

– Ты ужъ извини, дорогая: чистыя въ домахъ обитаютъ, а не во дворцѣ – наложницами. Ты здѣсь царица, а тамъ – рабыня. Ишь, что выдумала!

– Да ужъ лучше тамъ быти хоть кѣмъ, а не здѣсь: царицею селенія; только вотъ не наложницею, нѣтъ. Ахъ, какъ лѣпо-то тамъ, ахъ, какъ лѣпо: всё въ камняхъ, всюду злато, тишь, треножники…Влечетъ меня туда душенька моя, великолѣпіе несказанно манитъ – такъ и снится, и грезится день и ночь. А здѣсь, здѣсь – всё невыносимо. Бѣдность вперемѣшку съ нищетою. Не для того богини меня толикою красою надѣлили, не для того.

– Эка дѣвка! Какъ будто одна ты Касату любишь: это жъ каждая дѣвица о нёмъ мечтаетъ, а вотъ возьметъ себѣ мужа прислуживать, такъ сразу и забываетъ Касату. Смекаешь? Ты пойми: будь ты еще трижды краше, толку отъ того не будетъ: обычаи не перепрыгнешь: обычаи хранить должно: святы они. Я тебѣ всё сказала, ты иди, иди.

И пошла Ира рыдаючи къ знахаркѣ, дабы приворожить милаго ей Касато, жительствующаго въ много болѣе, нежели милъ онъ самъ, миломъ ей Дворцѣ. Шла и сказывала: «Зелья выпью, мазью намажуся – охъ, приворожу я тебя, милый, ой, покорю сердечко твое алое! Чаю: снидетъ боль изъ сердца дѣвичьяго!»

Долго шла, изрѣдка подбирая цвѣты, дабы погадать на нихъ: любитъ – не любитъ; чаще всего выходило «не любитъ»; и бросила она цвѣты и присѣла горючи: плакалась Ира – да такъ, что словно Міровой Скорби наконецъ-то опротивѣло гулять по бѣлу-свѣту въ поискахъ пристанища, и пристанищемъ выбрала она не кого-нибудь, а первую критскую дѣву, заселившись безъ спроса въ сердце ея. Услышала Ира, что къ ней бѣжитъ нѣкто; неторопливо бросила взглядъ и увидала мчащагося къ ней Малого; то былъ нѣкій невзрачный, сутулый, съ вѣчно-щурящимися бѣгающими глазками, но вмѣстѣ съ тѣмъ вѣчно-сонный, самаго обычнаго роста, моложавый юнецъ, изъ котораго словно сочилась несолидность и болѣзненность своего рода, съ дурною кожею и предлинною шеей (словно была она таковой, чтобы обладатель ея могъ сувать свой носъ куда не должно) – словомъ, походилъ онъ на большинство критскихъ юнцовъ, кроткихъ и радостно-печально-грустныхъ, что словно самою природою было направлено къ умноженью презрѣнья къ нимъ – со стороны природы, природнаго, ежели подъ этимъ понимать не звѣрей, но, скажемъ, дѣвъ всѣхъ возрастовъ и половъ и прочихъ дольнихъ созданій. Однако обладалъ онъ одной небезынтересной чертою помимо не по-критски задумчиваго, отрѣшеннаго выраженья лица: порою, возвращаясь съ дворцовой службы, видѣлась ему едва ль не въ каждомъ деревѣ, кустѣ, травинкѣ: критская вязь; іероглифы мерещились и во снахъ (тогда казалися они ему иной разъ зловѣщими, иной разъ – попросту злорѣчивыми, но иногда – послѣ сладострастныхъ ночныхъ мечтаній – злокозненными, злочестивыми, злотворными и зломудрыми; но въ миги сладострастныхъ его грезъ казалися они ему: доброгрудыми, добровыйными, добробед-

рыми, аки иныя критскія дѣвы), и тогда онъ водилъ десницею по воздуху, словно тщась нѣчто записать. Порою просыпаясь ранѣе положеннаго еще впотьмахъ чертилъ – не то сосредоточенно, не то самозабвенно – палочкой-стилусомъ нѣкія письмена на полувлажной глинѣ, и остается лишь догадываться, каковъ былъ смыслъ таинственныхъ сихъ начертаній. – Очень ревностно служилъ пользѣ отчизны, но служа ревностно, всё жъ не жилъ въ своей должности, ибо любилъ не её, а Иру. Съ презрѣніемъ Ира отвела отъ него взоры свои и очи содѣлала льдяно-равнодушными и устремленными къ небу. Малой первымъ началъ бесѣду:

– Ира-красавица грядетъ-то по полю, блѣдна, якъ Луна, да бѣла, якъ снѣга и льды Иды-горы. Здравствуй, милая, – добавилъ онъ, привѣчая милую, сладостно-сладострастно смущаяся и потупляя очи, какъ то было положено по критскимъ обычаямъ въ подобномъ случаѣ, но скорѣе по робости своей. – Вотъ тебѣ, тебѣ вѣнокъ я свилъ изъ цвѣтовъ окрестныхъ. Да ты и сама – цвѣтокъ, нѣжнѣйшій изъ прорастающихъ въ садахъ земныхъ; горный ручей: въ пустынѣ.

– Вижу, что изъ окрестныхъ, – фыркнула Ира не безъ презрѣнія, изображеннаго на ея лицѣ, и скучая добавила: – Что мнѣ вѣнокъ твой? Къ чему?

– Что, плохъ, о услада очамъ? – взволнованно вопросилъ Малой, ставшій словно самимъ олицетвореніемъ удивленія

– Вѣнокъ-то хорошъ, – отвѣтствовала дѣва, разглядывая цвѣты, изъ которыхъ былъ онъ сдѣланъ.

– Дозволь… – пролепеталъ Малой, глядя на нее съ трепетомъ и сердечнымъ волненіемъ.

– Ничего не дозволю. Гляди ты долу! Всё ты ходишь за мною по пятамъ. Говорила и говорю: сама Судьбина горькая воспретила быть любви межъ нами. Вѣкъ тебя не видать!

– Я счастливъ быть при тебѣ. И хоть плачу – я счастливъ, счастливъ! А, можетъ, потому и счастливъ, что плачу порою. Въ томъ завѣты Матери, что мужамъ подобаетъ плакать и страждать чаще, много чаще, чѣмъ дѣвамъ, что и безъ того чисты: какъ ручей горный, какъ Ида-гора; ибо мужамъ должно еще очищать сердце свое, дабы приблизиться существомъ, сердцемъ, хотя бы и на шажокъ какой: къ вершинѣ именемъ Дѣва, – и смѣть созерцать Её.

– Любовь нераздѣленная препятствуетъ счастью моему, а раздѣленной быти она не можетъ. Заклинаю: уходи.

– Бей! Бей – не уйду! А быть битымъ любимою – всего слаще.

– Тогда не побью.

– О, да не лишатъ меня богини зрѣлища толикой красы! Я-то уйду да приду вновь.

– Ахъ, да и не придешь – прибѣжишь.

– Прибѣгу, о божественная.

– Милая, а я тебѣ, тебѣ не токмо вѣнокъ сплелъ, достойный божественнаго твоего чела, да къ нему въ придачу и пѣсню сочинилъ, – не безъ надежды выпалилъ Малой.

– Ой, избавь меня, юноша, отъ пѣсенъ твоихъ. Кручинюся я, не вишь? Ужель ослѣпъ?

– Вижу, вижу, милая. Ахъ, кабы помочь тебѣ. А, можетъ быть, провожу тебя да успокою сердце прекрасное?

– Нѣтъ-нѣтъ. Иди же, иди, какъ шелъ.

– А что за горе сердце прекрасное неволитъ?

– Не твое то дѣло, не твое.

– Какъ знать, можетъ, оно и меня касается. Хотя бы и краешкомъ уха услыхать бы!

– Сказала же, – добавила она съ пригрозою въ очахъ, – не твое дѣло! Глупенькій: гдѣ жъ тебѣ понять тайны сердца дѣвичьяго; глубоко оно, аки окіянъ-море, темно, аки Нощь, и чисто, аки слеза. Ты, Малой, словно въ Мать не вѣруешь – такъ мнѣ кажется.

– Какъ можно?

– Забываешься ты, словно завѣтовъ не вѣдаешь.

– Помилуй! Но Любовь развѣ не отсвѣтъ Матери?

– Твоя – нѣтъ. Ну, иди же, иди. И передай отъ меня вѣсточку Касатѣ, что я о нёмъ вспоминала; добавь къ сему: думы думала о нёмъ; спроси о здравіи его, не забудь.

– Передамъ, о прекрасная изъ прекрасныхъ. Всё будетъ исполнено. Да какъ же онъ красу твою позабудетъ, да и съ именемъ ты, не то, что мы, критскіе. По полямъ многотравнымъ, пьянящимъ сердце младое, приду я во Дворецъ: дорогу перекрыли: Хозяину земли критской угодно днесь на коняхъ-скакунахъ резвитися.

– Многая лѣта Царю! И да хранитъ его Зиждительница! А ты, скачи, скачи, аки конь. Поживѣе! А я снова гадать пойду.

– Да, иду, милая, иду, – со взоромъ увлажненнымъ и блаженно-помертвѣлымъ, послѣ поклона молвилъ Малой и спѣшно удалился, однакожъ, оглядываясь на нее, любуясь ею. Про себя же думалъ: «Ахъ, какъ люба она мнѣ; какъ ей сердце полонить? Не дѣва – богиня. И куда во Дворцѣ смотрятъ? А можетъ, господамъ-то и виднѣе, да у меня свои глаза есть». Ира же – когда Малой спѣшно удалился, приговаривая чуть погодя «Критскую жалую природу, сердце пляшетъ вонъ!» и обливаяся потами, – молвила вслухъ: «У Касаты на колесницѣ колеса, златомъ оправленныя, а этотъ-то пусть себѣ бѣгаетъ. И еще оба зовутся людьми! Что межъ ними общаго, что ихъ связываетъ? Пропасть, бездна межъ ними».

Долго ходила Ира, сердце успокоивши, по полю и гадала: любитъ-не любитъ; снова чаще выходило: не любитъ. Уставши, медленно отправилась къ дому своему, позабывши о посѣщеніи знахарки; по дорогѣ любовалась лазурью небесною, разстилавшейся въ упоительныхъ аэрахъ. Отаями грезъ ниспадала лазурь и внушала надежду. Подходя къ дому, увидала своего любовника, поджидавшаго её у входа, мужа многомощнаго, съ кожей цвѣта песочнаго, съ очами грозными; былъ онъ однимъ изъ начальниковъ «братьевъ критскихъ»: критской пѣхоты. Скупо и съ презрѣньемъ подчеркиваемымъ отвѣчала она на многострастныя его ласки, отстраняясь больше для вида и по обычаю. Вошли въ домъ…

На слѣдующій день, уставши отъ любовныхъ ласкъ и проснувшись поздно, когда Солнце критское продолжало палить, попаляя живое и неживое, любовникъ Иры напомнилъ ей, что слѣдовало ей отправляться въ дорогу.

Черезъ нѣкоторое время Ира по дорогѣ къ знахаркѣ увидала Мудренькаго. Онъ попривѣтствовалъ её по критскимъ обычаямъ. Неизвѣстно, о чёмъ шелъ разговоръ: отъ него долетѣло нѣсколько фразъ:

– Я жъ тебѣ услугу оказала! – капризнымъ тономъ сказала Ира.

– Какую? – словно бычокъ, отвѣчалъ Мудренькій.

– Поцѣловала когда-то: въ щеку. Ахъ, какъ была я несмышлена.

Таковъ былъ Евинъ родъ на земляхъ добрыхъ.

* * *

Малой же, сильно запыхавшись отъ бѣга, направлялся во Дворецъ, во святая святыхъ Крита, гдѣ уже нѣсколько лѣтъ служилъ писцомъ. Чертогъ, отбрасывающій пугающую предлинную тѣнь, многоколонный, пробуждался ото сна. Писецъ приближался ко мрѣющему Дворцу-великану, свѣтлокаменному, крепкостенному, бѣлизною равному снѣгамъ и льдамъ горы Иды, страшащему, и всё не могъ привыкнуть – видѣвши его сотни разъ за жизнь; Малому онъ казался не только и не столько безмѣрно-чуждымъ, иноприроднымъ, но: не выросшимъ изъ земли, отъ вѣка и до вѣка доброй земли (такъ учили матери и бабки), но словно низвергшимся, обрушившимся съ чуждаго неба: въ ея лоно. Дворецъ представалъ: чудищемъ, хотя и распростертымъ, но живымъ и высившимся: до неба. И во внутрь чудища – не черезъ пасть – главный входъ, но черезъ иныя его отверстія – черный входъ – предстояло проникнуть Малому по долгу службы. Потоки свѣта встрѣтили Малого: стѣны предстали: стѣною свѣта. Свѣты хлестали, били, царапали, сжигали глаза; Дворецъ пилъ изъ сердца Малого, его проницая и

пронзая, приближавшагося всё ближе и ближе къ черному входу во Дворецъ; по мѣрѣ приближенія всё болѣе малымъ казался себѣ Малой: словно сжимался онъ, а чудище – ширилось; входъ – знакомая темная деревянная дверь, съ ручкой-букраніемъ, спиралевидными орнаментами и рогами посвященія вкругъ двери – разрастался, всё остальное – терялось. Ароматы сладостно-тяжелыхъ куреній встрѣтили Малого, гнетущее бросилось въ сердце: слѣзало, какъ со змѣи, свое, живое свое – и заступало казенное, чуждое, враждебное. Вскорѣ вступишь: въ утробу чудища, – и будешь охваченъ: и убранствомъ полутемныхъ залъ, что плѣняли сердце полутемнотами, и прохладою, и камнемъ, и прорастающими живыми лугами фресками, небывалыми, самыми живыми на свѣтѣ, и присутствіемъ Самого (который казался Малому Быкомъ красноярымъ) гдѣ-то поблизости, – и еще долго не вернешься: къ себѣ самому, въ свое, въ живое свое; войдешь въ чудище, всеохватное, всеобъемлющее, всепожирающее, – и забудешь обо всёмъ на свѣтѣ, о себѣ, день претворится въ ночь, а ночь – въ день. – Какъ быкъ, влекомый на закланіе, какъ рабъ, влачащій ярмо, не шелъ и пришелъ Малой во дворецъ, но именно дворецъ призвалъ его къ себѣ, притянулъ, незримою десницею ритмично-мѣрно подергивая поводокъ (столь же незримый, какъ и десница).

Но вотъ увидалъ онъ знакомаго привратника, изъ числа покоренныхъ въ недавнемъ крито-египетскомъ набѣгѣ на востокъ Средиземья, родомъ изъ земель восточныхъ. Онъ, поздоровавшись съ Малымъ, спросилъ о его житьѣ-бытьѣ и, не дожидаясь отвѣта, испросилъ:

– Всё за нею бѣгаешь? Къ сердцу прилипла пуще всего прочаго?

– Да: средь насъ богиня, живая…Ира…по милости своей посѣтила сердце мое своею красой…

– Скверно, болѣе чѣмъ скверно. Брось, – сказалъ его знакомецъ, – дѣва какъ дѣва; и желанья – всѣмъ извѣстныя – девьи. Да, дѣва дѣвой, а не диво. Ишь прилѣпился къ ней!

– А я говорю: диво, – сердито отвѣтствовалъ Малой. – Она одна такая, нѣтъ иныхъ, окромя нея.

– Эхъ угодно тебѣ…вѣдь уже чинъ чиномъ бытуешь, а всё бѣгаешь. Не поймешь васъ, критскихъ.

– Да нѣтъ мнѣ жизни безъ нея! Какъ ни служить ей, ежли она душу сперва опалила, а послѣ и зажгла! Ты словно дался диву – ужель не любилъ ты – да такъ, чтобъ жизнь вся горечью черною обернулася; а послѣ, послѣ горечи, вдругъ, ни съ того ни съ сего – мѣдью всепронзающею – свѣтъ, да такой свѣтъ, какого, можетъ, и никто не видывалъ: какъ Солнце – она.

– Такъ – не любилъ.

– Значитъ, не любилъ ты вовсе, ибо любовь подлинная – всегда такова.

– Да нѣтъ же! Ты меня послухай: забудь её въ сердцѣ своемъ и умѣ.

– Пустое совѣтуешь: я тебя скорѣе забуду, оса тебя укуси, и, можетъ, скорѣе царя позабуду, чѣмъ Её. Её!

– Съ ума ты сошелъ? Помереть хочешь! Дѣвка вѣсь разумъ отбила тебѣ.

Малой сжалъ было кулаки, въ умѣ полетѣлъ уже было съ кулаками на стражника, а на дѣлѣ вдругъ дернулся, почуявъ сперва взглядъ Быка Краснояраго, всегрознаго царя, – не созади, или впереди, или сбоку, но – словно отовсюду; а послѣ – и страшное его дыханье, горячее, злое и мѣрное, словно біеніе сердца чудовищнаго исполина. И тихо добавилъ, глядя не на стражника, а куда-то внизъ: «И знаться теперь съ тобою не желаю!».

* * *

Издали виднѣлся одиноко стоящій старый домъ съ дверью растворенной. Ира подошла къ нему (то былъ домъ знахарки, вѣдающей травы), увидала послѣднюю, бабу статную, добрую, въ платьѣ до пола; та ей молвила:

– А, пришла! Тебя заждалась. Мазь тебѣ сотворила многомощну, чудодѣйственну, по обычаю древнему; предолго для того священнодѣйствовала по завѣтамъ матерей.

– Ой, спасибо тебѣ, кормилица!

– За спасибо сытъ не будешь.

– Мати, принесла: пряности восточныя, какъ ты просила давеча. Дурачокъ мой привезъ. Вотъ и онѣ! – сказала Ира и передала знахаркѣ засаленную сумку – некритской работы – туго стянутую кверху, однако всё жъ источающую ароматы, на Критѣ извѣстные развѣ что во Дворцѣ. Лицо знахарки рѣзко выразило удивленіе, но, столь же рѣзко подавивъ его, она расплылась въ по-критски доброй улыбкѣ.

– Ты послухай, какъ сотворила её. Я пару дней тому назадъ раба отправила во поля во далекія – съ порученьемъ. Долго-долго траву-мураву осматривалъ онъ, ища что надобно: скудно небо дождьми нынче. Крины собралъ онъ рѣдкіе-прередкіе, бѣлые да синіе – мелкіе, видомъ пречистые, цвѣтутъ недолго, но благоуханье источаютъ великое; да одинъ цвѣточекъ червленый; звать его берегунъ-трава, растетъ въ эту пору подъ деревцемъ однимъ лишь (его еще упомнить надобно); цвѣтъ – аки зорька румяная; ростомъ малъ, да пахнетъ какъ – словами не опишешь. Безъ берегунъ-травы мазь въ диво не претворится; а остальные крины ненадобны и даже вредны для сего. Повезло тебѣ, что цвѣлъ онъ въ сіи дни. Собрала я траву-мураву воедино; въ рукахъ вертѣла – ажъ горяча стала; послѣ рѣзала; потомъ сушила; истолкла въ порошокъ и съ масломъ оливковымъ смѣшала; перо птицы черной добавила, въ пыль загодя обращенную. А въ окончаніе горсть землицы святой къ сему прибавила, смѣшавши всё воедино: землицы, по коей Самъ царь нашъ батюшка Имато ходить изволилъ съ годъ назадъ. А когда мазь варилась, творила я заклинанія. Такъ и мазь цѣлебна родилася: незримая, но многомощная въ своей силѣ, потому – вѣрь мнѣ! – угаснетъ его нежеланье.

– Мати, экъ ты постаралася заради мя!

– Благодари, ежли вспоможетъ въ дѣлѣ любовномъ, ежли боль изъ сердца изгонитъ.

– Кабы вышло-то! – Люблю Касату пуще жизни своей, пуще Солнышка святого.

– Коли любиши – мажь перси свои.

Ира, раздѣвшись, покрывала густымъ слоемъ нѣсколько блѣдныя свои перси; мазь хотя и источала густое, терпкое благоуханіе, цвѣточное, дурманящее, жгла плоть, но жгла её для плоти ея, а знахарка тѣмъ временемъ приговаривала: «Цвѣты, вы – начало всего, цѣль и смыслъ земли, лучистые, легкіе, благоуханные. Цвѣты, вы – начало всего, цѣль и смыслъ земли, бѣлые, чистые, нѣжные. Цвѣты, вы – начало всего, цѣль и смыслъ земли, живые, пышные, свѣжіе». Также она произносила и неудобь-произносимыя заклятья.

– Всего надобно три раза помазать; какъ подсохнетъ – смой, а смывши – еще два разка обмажься – по обычаю по старинному, – напутствовала знахарка.

– Благодарствую, Мати.

– Но ты не серчай, ежли не поможетъ: ибо ворожишь сердце Самого – а не обычнаго мужа.

– Миръ дому сему.

И обернулася, выходя изъ дому, направо, отвѣсивъ два глубокихъ поклона (два критскихъ книксена sui generis), какъ то и подобало по древнимъ критскимъ обычаямъ – въ случаѣ глубокой благодарности и оказанія чести, если не высшей, то всё жъ немалой и сверхъ мѣры положенной для знахарки: ибо рѣчь шла о толикомъ дѣлѣ – о приворотѣ на любовь не простого смертнаго, даже не мужа знатнаго, но Самого, высшаго слуги Отца всего, какъ порою называли критяне своего правителя.

Вѣковѣчный Критъ полонъ былъ жизни: отживая долгій свой вѣкъ. И былъ онъ искреннимъ въ своей страсти къ жизни (со всѣми ея радостями и бѣдами), сѣдой, словно самое Время. Но чрезъ сковавшую его суету проглядывало уже огромнымъ бѣлымъ глазомъ безвременье, что подпирало собою Критъ.

* * *

Таковъ былъ незамысловатый народный срѣзъ бытія тогдашняго Крита. Не измѣняли ему ни жизненность (и женственность) со всею ея то бурною, то сладостно-сладострастно-умиротворенною многоликостью, ни незатѣйливость и простота, доходящая порою то до варварски-примитивныхъ низинъ, діонисійскихъ по преимуществу, но безъ самого преимущества, то до пошлости (для человѣка поздней культуры), то до заурядности, но не теряющая отъ того въ цѣнѣ (для большихъ любителей жизни); цѣльность, монолитность, спаянность минойскаго Крита являли себя; но то была не русскія цѣльность, монолитность, спаянность, чреватыя часто, слишкомъ часто угловатостью, неловкостью, презрѣніемъ къ манерамъ, жесту, приличіямъ (словомъ: ко всему внѣшнему), но, скорѣе, испанскія: черно-красныя, гордыя, вспѣненныя, какъ выя быка, борющагося съ тореро, огненно-чувственныя, багрянопылающія, но плоскія, лишенныя глубины и иныхъ измѣреній, о коихъ, однако, вѣдали на Руси. Съ Русью, однако, сближали: игра, борьба и порою соединенье противуположностей – черта, свойственная только минойской и русской культурамъ: такъ, критяне при любви къ Природѣ всегда её неосознанно боялись; добро соединялось со зломъ, душевность – съ ксенофобіей, а благостность и миролюбіе – съ жестокостью и агрессивностью. Цѣльность, далекая, впрочемъ, отъ синтеза, на коемъ и шва не найдешь, и отъ безоблачной гармоніи (вопреки всѣмъ усиліямъ критянъ выставить дѣло инако), однако, по-своему достигались на Критѣ замалчиваніемъ и табуированіемъ мрачной, діонисической, ночной, трагической стороны бытія не только въ критскомъ искусствѣ, прельщающемъ и очаровывающемъ, – съ безпримѣрнымъ его динамизмомъ (великое «Πάντα ῥεῖ» читалось съ фресокъ и не только съ фресокъ), безуміемъ цвѣтовъ, шкваломъ и бурею красокъ, съ его женственностью, мажорною тональностью, вѣчной веселостью, беззаботностью, эйфоріей, носящей часто, слишкомъ часто экстатическій характеръ, съ мѣрною его волнообразностью, волнообразно-спиралевидной лавиною движенья, любовью къ динамикѣ и страхомъ предъ статикою, – но и въ критскомъ бытіи. – Словомъ, на Критѣ подражаніемъ Природѣ, природностью и ея прославленіемъ зачиналась цѣльность и преодолѣвалась раздвоенность, но лишь съ одной стороны и лишь отчасти; въ то время какъ на Руси отношеніе къ Природѣ было дисгармонически-двоякимъ, гдѣ противуположности не примирялись, не сливались воедино, но являли себя несліянно и враждебно, конфликтуя: коса находила на камень; Природа мыслилась и какъ богъ, и какъ дьяволъ, единовременно и какъ добро, и какъ зло: не въ этомъ ли корень русскихъ глубинъ? Такъ, напримѣръ, личности, подобныя Ивану Грозному, столь разрывающіеся въ своей – искренней – двоякости, на Критѣ были попросту невозможны – ни среди правителей, ни среди всѣхъ прочихъ сословій. Тому причиною была раздвоенность не только исторической судьбы Руси и сердца ея, не только попытка искоренить – христіанствомъ – язычество, но уже и раздвоенность самого историческаго христіанства, въ коемъ – дисгармонически – уживались космическое и акосмическое, старые мѣхи и мѣхи новые, ветхозавѣтное и новозавѣтное, законническое и вселенское.

Критская же цѣльность немалою цѣною достигалась, ибо не только и не столько требовала она великаго напряженія всѣхъ силъ: рождалась она одною перевернутостью души, одною вивисекціей и духовною кастраціей мужского бытія, активнаго и творческаго начала, однимъ растворе́ніемъ Личности (Я) въ коллективѣ (Мы). Цѣльность та была на дѣлѣ хожденіемъ по канату: надъ бездною; или же: смертельно-опаснымъ полетомъ надъ быкомъ: таврокатапсіей, – словомъ, равновѣсіемъ прехрупкимъ.

Высотѣ критскаго искусства и критскаго бытія въ его цѣломъ, однако, способствовали: мирный характеръ Крита, удаленность его не только отъ земель бурныхъ и мятежащихся, но и отъ культуръ прочихъ, ширь, богатство и размахъ самого острова, наконецъ, нравы самой критской знати. Здѣсь всё было ажурно, изящно вплоть до изнѣженности, блаженно-легко-паряще,

преходяще, волнообразно: ничего отъ восточной тяжеловѣсной монолитности и монументальности, неподвижно-застывшей и давящей. Критское искусство, искусство не греческое и не антигреческое, но догреческое и благодаря тому внегреческое, если и азіатское, то азіатское на свой ладъ, протоевропейское, праэлиннское, материнское par excellence, позднѣе влившееся, однако, въ греческое и ставшее материнской частью его, есть пареніе въ мірѣ милостью міра, искусство русское – пареніе надъ міромъ милостью надмирнаго: критское обожествляетъ преходящее, дольнее, въ преходящемъ видящее непреходящее, русское же обожествляетъ непреходящее, горнее.

И всё жъ первооснова, ядро минойскаго бытія, которое красною нитью пройдетъ черезъ вѣсь европейскій духъ вплоть до вѣка сего, – преклоненіе предъ женщиною, явленное: сперва матріархатомъ – въ минойскомъ Критѣ, равноправіемъ – въ классической Греціи, культомъ прекрасной дамы – въ Средніе вѣка, феминизмомъ, доходящимъ до матріархата, – нынѣ: матріархата, коимъ всё зачиналось и, заченшись, началось. И коимъ всё оканчивается.

* * *

Довольная, предвкушающая успѣхъ, заглушившій бы ноющую ея ненасытимость, извѣчную ея спутницу, которой всего всегда мало и всегда хочется большаго (да такъ – что о счастіи говорить не приходится), рожденную дерзосердіемъ, которое, въ свою очередь, рождено плотяностью, ибо плотяность всегда рождаетъ дерзосердіе, дерзновеніе недолжное, или же – смиряетъ, ввергая во прахъ душу, и самая душа тогда – прахъ; а причастность духу, напротивъ, рождаетъ дерзновеніе, – Ира отправилась къ морю; сливалась она воедино: съ природою, – пія изъ переполненной чаши ея; хмелѣла – словно только появившаяся на свѣтъ Ева, впервые созерцающая райскія кущи; роскошь красокъ туманила взоръ Иры; безмолвіе природы оглушало подобно молоту; овѣвали её вѣтры морскіе, нѣжные и юные – словно въ первый день творенія, – развѣвая ея волосы, золотящіеся Солнцемъ, южнымъ и ненасытимымъ, и одаривая свѣжестью и прохладою, желанной и алкаемой; ощущала себя: если и не Великою Матерью, то всё жъ ея родственницею. Долго и надменно-гордо взирала Ира на уходившее за окоемъ безбрежное немолчношумящее море, лазурное, тихое, мѣрное: дыша весною. Природа пребывала въ радованіи и ликованіи, славя создавшаго: всякой отъ мала до велика распростертой по бытію тварью. Что за день! Не день, а праздникъ!

Вдругъ Ира замерла, и глаза ея расширились. Долго вглядывалась вдаль дѣва. Виднѣлось: разсѣченье глади морской. Се – чудо: быкъ, блистающій златомъ, паче Солнца ярчайшій, бѣшеный въ силѣ своей; съ рогами, подобными опрокинутому на спину мѣсяцу; съ очами, кровью налитыми. А на нёмъ – нѣкая дѣва, крѣпко державшаяся за мѣсяцъ-рога. Движились они съ обтеченьемъ несказаннымъ: словно дельфинъ разсѣкалъ быкъ морскую твердь, её рѣжа на двѣ неравныя части. Щурилась Ира, созерцая дотолѣ невиданное. Играли дельфины на морѣ, віясь близъ быка и дѣвы. Дѣва та, что была близъ быка, уже сознавала, и сомнѣній въ ней не было: то не простой быкъ, но богъ-въ-видѣ-быка; страхъ уступалъ мѣсто почтенію и томленію сладкому: всё менѣе жалѣла о похищеніи, всё болѣе забывала о родныхъ земляхъ, о лугахъ разнотравныхъ, о подругахъ, о томъ, какъ рѣзвилися онѣ на брегу, собирая цвѣты и кружась хороводомъ; съ успокоеніемъ прижалась она къ многомощной его выѣ; онъ повернулъ къ ней свою голову; въ очахъ его не было ни безумья, ни ярости нынѣ – была его то уловка; странно, но вовсе не страшно было видѣть мудрость въ глазахъ быка; сладость наполняла сердце ея. Приближалася къ брегу чета; твари морскія поотстали, не въ силахъ стязаться съ мощью божественнаго быка. «Какъ нарицаютъ прелестный сей островъ, иль то не островъ? Но ежели не островъ, то брегъ сей не египетскій брегъ: онъ иной – пологій, безгорный, съ камышами и тутъ, и тамъ!» – думалось дѣвѣ. Дѣва вспоминала недавній свой сонъ; если ранѣе казался онъ вѣщимъ, то нынче сталъ таковымъ: во снѣ нѣкогда Азія, родина ея, земли родныя, явленныя

въ видѣ жены, стязалася съ иною, что собою являла земли къ западу; обѣ боролись за нее, за дѣву-Европу, пока не одолѣла та, безымянная, вторая; мрачнымъ казался, бѣдственнымъ, тотъ сонъ; нынѣ казался онъ благовѣстіемъ, судьбою златоносною, лазурью…На лазурь небесъ, сливавшуюся съ лазурью морскою, глядѣла дѣва; благостнымъ было лицо ея, и радовалось сердце ея: вдыхала дѣва весну.

Пристала къ брегу и выбралась на сушу чета. Дѣва оглядѣлась, на мигъ отвернувшись отъ звѣря, словно опасаясь его брызгъ: звѣрь отряхивался отъ влаги морской. Былъ быкъ – и нѣтъ быка. Юноша, сердцамъ всѣхъ дѣвъ милый, простиралъ руцѣ къ Солнцу, широкоплечій, безбрадый, благоуханіе неземное источающій. Дѣва словно сама – но потерявъ себя – подошла къ нему, бросилась въ могучія его объятья, зыблема страстью, необорной, всесильной. Юношей теперь явилъ себя быкъ, какъ подобало то случаю. Вскорѣ возлегли подъ тѣни платана, сопрягшись. Быкъ златорогій, губитель непорочности девьей, ненасытный во страсти, претворялъ её: изъ дѣвы въ жену. Кровь обягряла окрестный песокъ. Истаивала дѣвственность дѣвы: въ огняхъ лучезарныхъ: въ лабиринтахъ страстей. Подъ тѣнью платана сочетались любовью неспѣшно, пылая оба любовью… И зачинали тройню, плодъ любви бога и смертной, впослѣдствіи столь богатую славой, что никто, чья нога ни ступала по Криту, не могъ и не можетъ соперничать въ ея обиліи съ тройней, тогда зачинавшейся.

Ира глядѣла съ завистью, неотрывно взирая на платанову тѣнь, пронзаемую свѣтомъ юнаго мужа-быка; два ея пальца – внимая покою, тиши, внимая зову сердечному – сложилися воедино и потянулися къ лону невольно… Губы ея не то причмокивали, не то двигались, словно она нѣчто жевала; на лицѣ ея былъ восторгъ, но всё же зависть, ничѣмъ не прикрытая зависть просачивалась обликомъ ея. Глаза ея порою закатывались. – Таково было экстатическое ея самоуслажденіе. Навѣрное, спроси ее объ ея имени – и его бы не вспомнила въ толикій часъ. – Скакала похоть ея молодцомъ, приговаривая, маня и похваляясь да подмигивая.

Богъ, жадный до власти и до плоти женской, могущій себя претворить не только въ быка, но и въ дождь золотой, и въ громы и молніи, и въ лебедя, и въ змія – дабы добиться алкаемаго, – ввечеру разставался съ нею. Ей подарилъ онъ пса Лайлапа, отъ котораго никто и ничто не можетъ скрыться, убѣжать, избѣгнувъ страшной его пасти, меднорожденнаго (имъ одаритъ она прелюбимаго сына), а Криту – премогучаго Талоса, великана изъ бронзы, защитника и стража Крита, трижды въ день – день ото дня – облетавшаго вѣсь островъ и, случись ему увидать враговъ, забрасывавшаго ихъ каменьями. Долго еще будетъ гигантъ сторожить островъ, пока не погибнетъ – вѣками позднѣе – не отъ козней Медеи-волшебницы (какъ то разумѣло преданіе), но отъ рукъ Дедала, нѣкоего критскаго Гефеста, по порученію Криторожденнаго и создавшаго Талоса, Дедала, единственно вѣдавшаго тайну его, Ахиллесову его пяту: за бунтъ противу создателя былъ наказанъ гигантъ, словно іудейскій Голѣмъ; сіе отразилося въ искаженномъ преданіи, согласно которому нѣкій какъ будто иной Талосъ – уже не бронзовый гигантъ, твореніе Дедала, но его-де племянникъ, создатель пилы («пила» уже была въ природѣ и до него: въ змѣиной челюсти), гончарнаго круга и циркуля – былъ сброшенъ Дедаломъ не то съ вершины Акрополя, не то съ крыши дома простого и неминуемо погибъ бы, если бъ не былъ въ самый послѣдній мигъ спасенъ Аѳиною, превратившей его – по Діодору – не то въ змѣю, рожденную ползать – не летать, не то въ куропатку – птицу, наиболѣе прикованную къ землѣ. Въ искаженномъ семъ преданіи вѣрно лишь то, что Талосъ былъ низвергнутъ своимъ же создателемъ, Гефестомъ-Дедаломъ, богомъ, а отнюдь не смертнымъ, – за своеволье нѣкое и за нѣкій бунтъ: противу Криторожденнаго. Судьба Лайлапа печальна не менѣе: отъ прелюбимаго сына той дѣвы перешелъ онъ Прокридѣ, супругѣ Кефала-охотника, одолжившаго пса Амфитріону: для ловли и поимки тевмесской лисицы, что разоряла окрестности Ѳивъ и пожирала младенцевъ, лисицу, которую никто и ничто не можетъ догнать. Погоня пса – отъ котораго никто и ничто не можетъ скрыться – за лисицею – которую никто и ничто не можетъ догнать – стала безконечной, спиралевидной, самозамкнутой, словно предваряя извѣстную апорію Зенона: без-

конечную погоню Ахиллеса за черепахою. Несмотря на нелюбовь – не только минойцевъ и позднѣе грековъ, но и ихъ божествъ – къ линейности, предпочтеніе спирали, меандра, орнамента, лабиринта, безконечнаго конечному – верховною волей Верховнаго, Криторожденнаго, и лисица, и песъ были обращены: въ камень. Такъ конецъ былъ положенъ игрѣ, долженствовавшей быть безконечной: словно извивы меандра иль блужданье мнимобезцельное: въ Лабиринтѣ, которое до тѣхъ поръ безконечно, пока не встрѣтишь быка, сына Верховнаго.

Дщерь Агенорова, финикійская царевна, прекраснѣйшая, красой далекопревосходящая всѣхъ прочихъ, звѣзда межъ дѣвъ, узрѣла во снѣ судьбу свою. Предолго и тщетно по повелѣнью старца-отца искали её ея братья: Фениксъ, Киликъ, Фасосъ, Кадмъ. Осталась, судьбою отъ нихъ прячемая, на Критѣ.

Та финикійская дѣва, съ быкомъ-женолюбцемъ сопрягшаяся, послѣ взята была въ жены Астеріемъ, критскимъ царемъ, бездѣтнымъ, но безропотно усыновившимъ тройню божественную.

Зачиналась Европа на Критѣ: Европою-дѣвою.

Быкомъ красноярымъ явилъ себя на Критѣ рожденный богъ.

Глава 2. Общенародное празднество, или о людяхъ вящихъ

Тамъ, на медвяно-злачныхъ пажитяхъ, у ледяно-струйныхъ водъ,
паслись быки, неукротимо-дикіе, тяжело-тучные, широколбистые,
огромнорогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творенія,
сыны Земли Матери богоподобные.
Мережковскій

Въ одной изъ залъ дворца, темно-красныхъ тоновъ (ихъ было столь много, что не грѣхъ было заблудиться, ибо чѣмъ, если не Лабиринтомъ представали онѣ для всякаго входящаго въ чертогъ?), – между залами людей высшихъ (то былъ царь Имато, властитель par excellence, исконно – какъ и любой иной критскій царь – нарицаемый Сынъ Земли, и ближайшіе его царедворцы, среди коихъ состоялъ и Касато, вѣрнѣйшій и первѣйшій изъ слугъ государевыхъ, по чину своему нарицаемый «Наливатель высшихъ питій», микенскій грекъ, стрѣлою – милостью иныхъ личныхъ своихъ качествъ – съ самыхъ низшихъ чиновъ за весьма недолгое время дослужившійся до чиновъ наивысшихъ) и людей низшихъ (то были рабы и рабствующіе свободные, претворявшіеся въ рабовъ – за невеликую мзду на невеликій срокъ) – сидѣлъ писецъ. Если можно было бы обратить вниманіе на то, чѣмъ онъ занимался, то мы увидали бы глиняную табличку, только недавно облиневанную, еще полувлажную – въ самый разъ, чтобы на ней писать и еще успѣть исправить возможную ошибку. Вдругъ писецъ вздрогнулъ и уронилъ табличку: та разбилась – несмотря на полувлажность – полувдребезги о – если не мраморный (какъ въ залѣ Имато), то всё же каменный – полъ. Иной писецъ (на дѣлѣ ихъ было двое) посмотрѣлъ на разбившаго съ презрѣньемъ: вотъ уже третья табличка – пусть и не къ ряду, но за одинъ день – потеряна; немного ихъ осталось въ камышовой корзинѣ, гдѣ онѣ хранились, готовыя къ письму. Онъ въ отличіе отъ перваго писца не возился съ табличками, а держалъ въ рукѣ одну изъ печатей кносскаго дворца – со столь богатыми и подробно и искусно вырисованными сюжетами критской жизни, что, кажется, взгляни на нихъ – и поймешь Критъ, даже не бывавъ тамъ: бросится Критъ въ сердце. Онъ вскрикнулъ – и вскрикнулъ съ грубостью, вовсе не духѣ того времени и не въ духѣ нравовъ дворца:

– Крыса дворцовая! Я для чего тебя возвысилъ, песья ты душа. Ишь, съ глиной не справляется – на шкурѣ ввѣкъ писать не будешь: не довѣрю.

– Помилуй, отче! – отвѣтилъ писецъ помоложе, а про себя подумалъ: «Экій грубіянъ, такого грубіяна и среди брадатыхъ рѣдко сыщешь – не то, что среди чиновниковъ, тѣмъ паче средь знатныхъ. Экъ повезло мнѣ съ эдакимъ соработничкомъ!».

– Удалю отъ службы, ежели…Какъ, бишь, тебя? Запамятовалъ, – громогласно испросилъ его тотъ, что постарше. – Пишущій ты скотъ, живѣе, живѣе, говорю, неси табличку! Но гляди у меня: еще разъ разобьешь… Ладно: Конелюбъ-то сегодня не въ духѣ.

– Кто? – и тутъ носъ болѣе младого удлинился.

– Какъ кто? Тьфу на тебя! Ты, Малой, не слыхалъ дворцовой шутки недавней? Имато Благобыкій! – оглядываясь сказалъ тотъ, что съ презрѣньемъ посмотрѣлъ на писца – чего съ дурака взять – не выдастъ.

– Править всей державой – дѣло тяжкое, трудъ великій; не то что нашъ: мы люди маленькіе, потому и трудъ нашъ маленькій. Оттого и не въ духѣ. Всё же нѣсколько непочтительно звать Его «Конелюбомъ».

– Свои люди: имѣемъ право звать Самого – "Конелюбомъ": за глаза, мы вѣдь не безумцы. Скажешь такъ – и легче на душѣ. Не вѣдаю отчего, но легче.

– Черни свойственно бранить господъ: когда господа не слышатъ, – отвѣтилъ Малой.

– Мы не обычная чернь: мы люди дворцовые. Народъ – дуракъ. Мы – змѣи, а народъ – голубь. А ты тѣломъ – змѣя, а главою – голубь. Ты, Малой, сколько не работаешь писцомъ у насъ, умнѣе не становишься и обычаевъ не перенимаешь. Я для чего тебѣ помогаю, песья ты душа. Чинопочитаніе – добродѣтель вѣрнѣйшая: помни о семъ.

– Ужели почитаешь себя болѣе правымъ?

– Разумѣется, – съ достоинствомъ человѣка дворцоваго отвѣтствовалъ писецъ.

– А я почитаю себя болѣе правымъ. И вотъ отчего…Во-первыхъ… – сказалъ Малой, опустивъ по своему обыкновенію глаза долу.

– Никому нѣтъ дѣла до того, болѣе ты правъ или менѣе. Запомни: во Дворцѣ любой изъ челяди могъ быть хоть бы и трижды правъ и честенъ, но ежели Имато и Касато (да живутъ они вѣчно!) считаютъ инако, нѣкій кто-то трижды неправъ и нечестенъ, и плохи дѣла его. Называй его "Конелюбомъ" – да хоть "Конекрадомъ", но ежли онъ близъ насъ, то всё свершается по желаньямъ его; если ты мужъ, а онъ говоритъ, что дѣва, то ты дѣва, а не мужъ! Или же: буде ты дуренъ или глупъ, а онъ разумѣетъ инако, то ты не дуренъ и не глупъ! Слово его, вгзгядъ, даже самое чувство – всеверховны! Вотъ и тебя, Малой, господа давно взяли, письму обучили, чтобы высшіе указы записывать, письмена таинственны созидая, чести удостоенъ высочайшей, – а всё какъ былъ простой, такъ и остался, словно неученый. Да…дѣло: уменъ да невоспитанъ и, быть можетъ, зло какое таишь въ сердцѣ, хотя и впрямь ревностно служишь на пользу отчизны. Ревностно, да безтолково!

– Помилуй, отче! – не поднимая глазъ, сказалъ Малой.

– Тогда пиши на табличкѣ о военномъ шествіи въ честь египтянъ, лучшихъ изъ всѣхъ иноземцевъ: «О наши египетскіе други, высочайшіе, по вашему высочайшему изволенію…».

Вдругъ услышали люди дворцовые шаги; открылася дверь: Онъ пришелъ! Онъ – Самъ. Предъ ними стоялъ Касато, подлинный слуга подлиннаго царя. Писцы окаменѣли предъ нимъ, не могучи вымолвить и слова и вытянувшись въ струнку, какъ было свойственно восточнымъ рабамъ любыхъ эпохъ; очи долу опустилися, сердца бились, бились…Прошло мгновенье – и пали они ницъ – даже и не желая добиться благой воли вящаго человѣка, а попросту въ силу того, что такъ испоконъ вѣковъ было принято, дѣлая это съ совѣстью чистою, не унижаясь, ибо можетъ ли униженный по рожденію и по сердцу, унизиться? – Паденіе ницъ было традиціей (а всякая традиція для Востока – священна; и чѣмъ древнѣе она – тѣмъ священнѣе) и частью того, что слѣдуетъ назвать восточнымъ благоразуміемъ.

– Царь желаетъ не охотиться, но бриться повторно: приготовьте ему ванну, какъ положено. Соблаговолите содѣлать! – съ полагавшимися придворнымъ этикетомъ легкостью и

улыбкою сказалъ Касато всѣмъ слугамъ, указуя куда-то перстомъ, и величественно-неспѣшно добавилъ, растягивая гласныя: – Сынъ Земли желаетъ…

Но слуги уже убѣжали.

Малому подумалось: «Не чертогъ – острогъ! Дворцовые страдаютъ сами и иныхъ принуждаютъ страдать; подчиняются и подчиняютъ; чувствуютъ вину и винятъ другихъ. Они – о Матерь! – нѣшто они люди Лжи, или я помѣшался, но сколь же мерзки слова ихъ, и не смраднымъ ли огнемъ пылаетъ нелепое ихъ бытіе? Какъ же богини могли сіе допустить, чтобъ такіе люди правили: въ наказаніе ли они намъ поставлены? Или…Но того быть не можетъ: не вѣрю. Какъ я посмѣлъ подумать такое? Я? Я лишь ради Иры здѣсь».

* * *

Каменная ванна – новшество критское – не бани: была она для Одного (а не для нѣсколькихъ). Именно въ ней (либо же непосредственно послѣ нея) Имато предпочиталъ совершать омовенія, приговаривая по стариннымъ обычаямъ «Алчу возродиться, о Мати, въ пречистомъ чревѣ твоемъ», послѣ быть натираемымъ елеемъ и бриться (вѣрнѣе: быть бреемымъ). Брился онъ всегда по утрамъ: во-первыхъ, бодрило; во-вторыхъ, въ высшихъ кругахъ Крита издавна считалось: какъ утромъ побреешься, такъ и день проведешь; въ-третьихъ, ароматы елея (каждый божій день – разные: дабы не наскучило) – пьянили, дурманя мозги, дабы сверхчувственное въ полной мѣрѣ отступило, а чувственное, напротивъ, правило бы балъ. Были приготовлены: бритвы мѣдныя, острѣйшія, разрѣзающія пухъ, несомый аэромъ; отполированныя до блеску мѣдныя пластинки, служившія зерцаломъ; бальзамы; мыло; елей, который коли почуешь разъ – уже не забудешь: будешь охваченъ дурманами критскими, добрыми, низвергнешься куда-то, въ тепло-глухо-нѣмое: въ духъ или душу критскихъ луговъ. Ежеденно около двухъ часовъ проводилъ Имато въ сей ваннѣ; считалось: священнодѣйствовалъ онъ тогда. Но по случаю празднествъ, царь возжелалъ принять ванну повторно – ближе къ вечеру.

Какъ только Касато увидалъ Имато, первый вытянулся въ струнку предъ вторымъ.

Риза изъ шерсти бѣлоснѣжной, съ узорами и орнаментомъ, обрамляла станъ Имато. Поверхъ нея – несмотря на пекло за Дворцомъ, внутри Дворца царила прохлада благородная, создаваемая каменностью чертога и критскимъ новшествомъ – тѣмъ, что мы называли бы «вентиляціей», – было небрежно накинуто то, что позднѣе греки называли хламидою, но тоновъ багряныхъ (и въ самомъ дѣлѣ походившее на много болѣе позднія греческія хламиды), обычно скрѣпляемое застежкою изъ цѣльнаго золота, когда Имато случалось вставать съ трона, – и тогда купалося оно въ лучахъ солнечныхъ, сверкая: во всѣхъ отношеньяхъ; нынѣ же застежка, усѣянная каменьями драгоцѣнными, лежала возлѣ трона, небрежно брошенная царемъ; кипарисовый тронъ былъ украшенъ бычьими головами изъ слоновой кости, а четыре ножки его напоминали ноги коней. Въ рукахъ держалъ онъ по обыкновенію царскія регаліи – обоюдоострый Лабрисъ, отображающій собою мѣрныя смѣны лунъ, и кубокъ съ мастерски изображенными на нихъ лиліями, образующими собою знакъ безконечности, свиваясь, и крестомъ; но, какъ и застежка, были онѣ на полу залы, брошенныя рукою неспѣшно-лѣнивою и пресыщенною. Имато не носилъ колецъ: они стѣсняли руки. Всё было великолѣпіемъ воплощеннымъ, и, случись кому узрѣть сіе впервые, удивленье несказанное, переходящее въ изступленье, сковало бы его. Царь глядѣлъ въ полъ обширной залы, умащенный многоразличными благовоніями: на полу красовалася мраморная мозаика, изображавшая религіозные мотивы критской религіи: быка, змѣй и дѣвъ, формъ манящихъ, кружащихся возлѣ животныхъ священныхъ; поодаль виднѣлся кипарисъ; ей вторили бросающіяся въ душу фрески на стѣнахъ, прорастающія всей роскошью критскихъ луговъ и также являющія себя еще большимъ богатствомъ морскихъ нѣдръ, фрески, съ которыхъ вотъ-вотъ гляди и повѣетъ прохладою луговъ и ароматами морей; виднѣлись и спиралевидные орнаменты, напоминающіе то ли змѣй, то ли побѣги вьющихся

растеній, то ли гадовъ морскихъ, но символизирующіе никого не щадящее, непобѣдимое время (ибо всё тварное подлежитъ Времени, оно – подлѣ престола Времени), всепожирающее и всепронизывающее, вѣчно-исчезающее и вѣчно-возвращающееся, неумолимое и необратимое въ стремительномъ своемъ полетѣ, вѣчно-становящееся, вѣчно-сгорающее и вѣчно-рождающее: себя пожирающаго змѣя, сторожевого пса творца, песочные часы Вѣчности, струящее себя изъ Вѣчности, бѣлой, но рождающее лишь бренное – не нетлѣнное, ибо оно есть отрыжка Вѣчности, и ея кровотеченіе, и неудачная мелодія бытія.

О Время, сколько унесло ты въ бездны свои пустыя, черныя, въ своихъ же черныхъ метаморфозахъ?

сколько сожгло въ перстахъ своихъ?

сколько обратило во прахъ сѣдой?

сколько перемололо Судебъ горькихъ?

сколько выпило жизней пурпурныхъ?

Боишься ты самого себя, поскольку аки тать воруешь всё сущее, и совѣсть твоя нечиста.

… спиралевидные орнаменты, символизирующіе собою не только Время, но и связанное съ нимъ нескончаемое чередованіе: весны и зимы, рожденія и смерти, свѣта и тьмы, ночи и дня, добра и зла, ежегоднаго умиранія природы и ея же ежегоднаго воскресанія, – важнѣйшіе элементы критскаго искусства. И было чередованіе сіе безконечнымъ циклизмомъ, вѣчною круговертью. И была та бѣгущая – словно волна морская – спираль: сущностью – почитавшейся священною – дольняго міра. Её символизировала и стоявшая въ углу залы ваза съ изображеніемъ осьминога, словно готоваго наброситься на смотрящаго и опутать его безконечными, спиралевидными щупальцами. – Критское искусство, хаотическое, ирраціональное, стихійное, внеисторическое, исполненное динамизма, подвижное, было прекраснымъ въ своей жизненности, плѣняющимъ и чарующимъ. Хаосъ жизни рождалъ здѣсь гармонію своего рода. Дыханіе жизни ощущалось въ искусствѣ ихъ. Въ сердцѣ художниковъ билась природа, циклическая, самозамкнутая, себя рождающая безпрестанно и себя пожирающая, растворенная въ вѣчномъ Сейчасъ, не вѣдающая ни прошедшаго, ни грядущаго. Они (и искусство ихъ, и его творцы) и сами были частью природы.

И дабы царю не наскучивалъ одинъ и тотъ же сюжетъ, мозаику и фрески мѣняли нѣсколько разъ въ годъ; по той же причинѣ мѣняли и залы мѣстопребыванія царя: было ихъ столько, что человѣку, не привыкшему къ чертогу, было проще заблудиться, чѣмъ попасть, куда онъ собирался: Лабиринтомъ оказывался дворецъ кносскій. Съ потолка нисходили свѣтильники, озарявшіе – если на то была воля Имато – теми ночныя и всегда, деннонощно, наполнявшія залу ароматами дурманящими, пьянящими мозгъ, развѣвающими мысли царя, приводя его въ состояніе, считавшееся священнымъ: считалось въ тѣ дни: когда мысли улетучиваются и пробуждаются чувства – заступаетъ божественное.

Вдругъ великолѣпіе было разорвано: звукомъ незнакомымъ: чашка восточной работы, стеклянная (о чудо!), поставленная въ мѣсто непригодное для того – возлѣ ногъ царскихъ, гладко выбритыхъ утромъ въ ваннѣ, – и стоившая цѣлое состояніе, разбилася вдребезги.

– Къ бѣдѣ, – изрекъ Имато.

– Къ счастью, о царь дражайшій, къ счастью! – нашелся что отвѣтить Касато. – О Всемилостивѣйшій, не сочти за оскорбленіе божественнаго твоего достоинства и за дерзость нечестиву не сочти, но – думно мнѣ: надобно намъ, минуя иные наши обычаи, совѣщаться и дѣйствовать въ сей, толь славный часъ, сообща.

– Да, время небывало горькое: горчайшее: волнуюсь предъ празднествомъ. Идемъ же въ бани.

– Я желалъ сказать: въ толь горькій часъ, о владыко. Но дозволь добавить къ сказанному: о Благобыкій! Намъ ненадобны лишніе уши. Дозволь бесѣдовать намъ въ ванной залѣ, ибо есть слово къ тебѣ.

– Добро, о высочайшій изъ слугъ моихъ. Возьмемъ дѣвъ и слугъ да шута. Ибо рѣчи твои сладки, аки медъ.

– О Высочайшій, дѣло толь важное предстоитъ намъ, что твоему достоинству лишь помѣхою будутъ служить постороннія уши.

* * *

Празднества сіи – черно-красное священнодѣйствіе – исконно критскія, и восходятъ они къ древности столь глубокой, что ни на Критѣ, ни въ земляхъ иныхъ никто и не помнилъ, когда они начались: они коренятся въ бездонномъ колодцѣ прошлаго. Но критянамъ было извѣстно доподлинно, что это ихъ, критянъ, празднество, что не было оно привнесено на Критъ извнѣ. Какъ отголосокъ столь древнихъ временъ Старой Европы, временъ доиндоевропейскихъ, когда культа коня либо не было вовсе, либо онъ только заступалъ, – еще живъ онъ и въ наши времена: въ Испаніи; коррида – имя ему. Но коррида есть видъ тавромахіи, боя съ быкомъ, на Критѣ же быкъ былъ чтимъ, и въ играхъ съ быкомъ – быкъ священный почитался: быками обычными. Явленіе сіе словно зачинало и два много болѣе позднія греческія явленія: и агонъ, и трагедію.

Красноярый быкъ, отмѣченный напечатлѣніемъ креста-свастики, глядитъ исподлобья, презлой, ревущій прегрозно порою, мѣрно побиваетъ землю копытомъ – словно сопка, спускающая порою паръ, – дышитъ часто, быстро, но мѣрно вырывается паръ изъ ноздрей, то сжимающихся, то расширяющихся: силушки много, слишкомъ много, чтобы быть спокойнымъ. – Вскипали страсти въ немъ. Вскипали онѣ и въ толпѣ.

Созерцаніе знаменитой таврокатапсіи, священныхъ прыжковъ черезъ быка, религіозныхъ игръ съ быкомъ, являющихся частью культа быка, наполняетъ душу страстью: роскошью; вовсе не страданіемъ и не состраданіемъ, не жалостью: ревомъ страсти и остротою предѣльною. Окрыляетъ древняго человѣка, одаривая восторгомъ несказаннымъ. Околдовывающій пиръ души. Но коли взлетишь высоко, подобясь Икару, – погибнешь. Лишь для наиболѣе слабыхъ и нездорово-впечатлительныхъ да для неудачливыхъ тавромаховъ быкъ празднествъ сихъ представалъ: мѣднымъ быкомъ, въ коемъ медленно жарились несчастные жертвы.

Пришелъ, пришелъ – онъ, тонкій, худой, жилистый, смѣлый до безумія, безоружный, полагающійся только на свои безпримѣрныя ловкость, силу, проворность. Тавромахъ, бывшій если не богомъ-во-плоти, то избранникомъ боговъ, и потому пользовавшійся почтеніемъ немалымъ. Игрокъ съ судьбою и смертью, въ прыжкѣ надъ быкомъ растягивающійся между бытіемъ и небытіемъ; вылетая изъ бытія, находясь между жизнью и смертью, въ пограничныхъ областяхъ, приземлялся онъ: либо въ жизнь, либо въ смерть. Но ежели и погибнетъ тавромахъ, то смерть сія – самая достойная, самая – для многихъ – желанная, самая благородная, ибо самая богоугодная, жертвенная, благочестивая.

Толпа – ставшая Мы въ мѣрѣ наивысочайшей, претворившаяся въ единое многоликое существо – въ изступленіи кричитъ его прозвище (или имя, потому что его иначе какъ «Хроменькій» не перевести, а хромымъ не назвалъ бы его и слѣпецъ), ритмично-мѣрно повторяетъ его, входя въ трансъ. Согласный ревъ толпы потрясаетъ аэръ. Аэръ раскаленъ: Свѣтиломъ и страстью, лезвіемъ повисшею въ аэрахъ. И таетъ свѣтъ. Черно-красное множится, нисходитъ на сердца изъ глубинъ Матери-Земли – лишь залитый солнцемъ тореадоръ спокоенъ, но въ спокойствіи своемъ не мѣренъ; но мѣрны и толпа, и быкъ, текущій ревомъ въ душу народную, её священно-тревожа. Священное безпокойство царствуетъ въ священные тѣ миги, щемитъ оно сердца, бьющіеся всё чаще и чаще, всё болѣе и болѣе въ унисонъ: словно сердца всѣхъ собравшихся слилися въ одно безмѣрно-огромное сердце, бьющееся казалось бы аритмически, но на дѣлѣ лишь всё чаще, всё быстрѣе и быстрѣе: за то и любили священную тавромахію. И тряслася земля – не то отъ топота бычьяго, не то отъ неровнаго стучанья сердца сего.

Взлетаетъ игрокъ съ судьбою, безстрашный, смѣющійся, взирающій въ ликъ: не быка, но Смерти; обликъ его обличаетъ силу; жизнь его – подброшенная къ небесамъ монета, тетива, готовая либо лопнуть, либо разрѣшиться пернатой, пущенной въ цѣль; бытіе его – словно мигъ. Быкъ скачетъ. Наступаетъ: рогами выпяченными. Стѣна страсти между ними сужается. Стремительны, словно мигъ, и движенья. Точка. Чаша вѣсовъ ужъ не колышема: застыла; не подрагиваетъ: замерла. Стонъ толпы: перелетѣлъ – не задѣлъ плотью своей роговъ, изъ коихъ одинъ рогъ словно – Сцилла, другой – Харибда, проскользилъ надъ Смертью. Бычья плоть позади. Быкъ фыркаетъ, глазами огни мечетъ. Сладкое содроганіе молнійно пробѣжало по толпѣ – не только какъ исходъ и результатъ, но и какъ цѣль дѣйства сего. Смерть щадитъ того, кто глядитъ на нее смѣясь, а Судьба – того, кто тщится быть вопреки, ставя на конъ бытіе свое, когда играютъ не съ судьбою, но играютъ: судьбою.

Быковъ – жертвъ Матери – предали закланію, но предъ тѣмъ оскопили. Серпомъ срѣзаны были чресла бычьи да срамные ихъ уды, и кровь обагрила мать-землю: отсѣченными чреслами бычьими и удами ихъ, приносимыми Матери, ежегодно возрождалась, поддерживалась и освящалась жизнь, зимою погибающая, весною воскресающая, точно Діонисъ, – подобно тому, какъ изъ чреслъ Урана нѣкогда родилась Афродита, гордо возставала природа: навстрѣчу Солнцу.

Но не только священную роль имѣла таврокатапсія, но также и вполнѣ земную: роль panem et circenses. Народу казалось, что онъ возвеселился – въ Вѣчность; но народъ, потерявшись въ страсти, навеселился лишь – въ туманъ безсознательнаго, мутный и темный.

Имато, подошедъ къ быку убіенному, обмакнулъ въ крови жертвенной древній священный каменный ножъ и дотронулся имъ – сперва – до своей главы, а послѣ до главы жены своей. Кровь, собранную въ мѣдную чашу по манію царя, расплескали по полю: для урожаевъ вящихъ. – Священнодѣйствовали. – Но моленія не возносились: ниспадали.

Далѣе царь взялъ въ руцѣ Лабрисъ, священный топоръ, мѣдный и обоюдоострый, много позднѣе ставшій однимъ изъ символовъ минойской державы, походившій на ангела, вѣстника (древко – станъ, два лезвія – какъ крылія), и началъ благословлять земли окрестныя – по всѣмъ сторонамъ свѣта, приговаривая не менѣе священныя (нежели священный ножъ и священный Топоръ) слова, древнія и съ давно утерянным смысломъ. Собравшіеся – чины высшіе, – понуривъ въ священномъ почтеніи главы свои долу, молчали, внимая; царь произносилъ словеса сіи негромко, однако ихъ можно было услышать едва ли не каждому: таковая была богопочтительная тишина вокругъ, священная, какъ и царь, и ножъ, и топоръ, и словеса царя, и самыя молитвенныя закланія.

Окончилось молебствіе, длившееся недолго, дабы не утомить царя, и знатнѣйшіе изъ критянъ подходили къ Имато, который съ улыбкою критскою благословлялъ каждаго подходившаго словесами священными, добавляя къ нимъ – смотря по чину и по степени личнаго благоволенія – и свое, уже понятное каждому, сказываемое на языкѣ хотя и возвышенномъ, но всё жъ уже не столь древнемъ, чтобы нельзя было понять произносимаго. Знатнѣйшіе въ трепетѣ священномъ подходили къ почитавшемуся въ такіе мгновенія богоглаголивымъ царю, цѣлуя сперва Лабрисъ мѣдный, а послѣ руку Имато; и отходили прочь, исполнены благодати. Царь не глядѣлъ на народъ, дабы не оскорблять зракъ свой. А высшіе чины мыли руки, ибо хотя и нѣкоторое время, но всё же провели его совмѣстно съ ушедшимъ уже народомъ, ибо вящіе люди имѣли обыкновеніе мыть руки всякій разъ послѣ посѣщенія мѣстъ, гдѣ былъ народъ: послѣдній осквернялъ самымъ своимъ присутствіемъ бытіе ихъ. Имато имѣлъ обыкновеніе принимать многократныя омовенія въ таковыхъ случаяхъ.

Послѣ обряда вечеряли: поѣдали закланныхъ наканунѣ животныхъ, приготовленныхъ къ пиру самимъ царскимъ верховнымъ Поваромъ, кулинарная слава о которомъ распространилася далеко за предѣлы державы критской: говорили, что царь египетскій, именуемый фараономъ, отвѣдавъ однажды яства, приготовленныя ему Поваромъ всего Крита, до того былъ уснащенъ брашномъ, что предлагалъ въ обмѣнъ на него – ни больше ни меньше – колесницу,

вдоль и поперекъ нагруженную златомъ – и въ слиткахъ, и въ украшеніяхъ; Имато, слушавши гласъ здороваго своего тѣла, отказался, но отказался почтительно, какъ то и подобаетъ царямъ и всецарямъ.

Въ то время какъ знатнѣйшіе изъ критянъ пировали, жрицы, водя хороводы и кружася, неистово плясали и пѣли священныя пѣсни; неистовыя пляски, блаженно-воздушно-парящія, были также священны; глядите: сплетаются руки въ хороводѣ, и музыка, и танецъ свиваются-сливаются воедино. И вновь изливалася изъ устъ рѣчь древняя, слишкомъ древняя – словно самое Время, не вѣдающее пощадъ, – чтобы разумѣть смыслъ пѣтаго, но сіе и не требовалось и даже: менѣе всего требовалось: болѣе всего Критъ радѣлъ о сохраненіи старины, представлявшейся ея правителямъ всеблагою, всечистою и преблагословенною; каждому изъ правителей минойской державы, быть можетъ, и приходила мысль, стучавшаяся въ ихъ головы и сердца, но они съ мѣрнымъ и казавшимся имъ похвальнымъ постоянствомъ отгоняли отъ себя мысли такого рода, гнали ихъ отъ себя, какъ гонятъ назойливыхъ мухъ да комаровъ: мысли о преобразованьяхъ, объ измѣненьяхъ любого рода; также – до эпохи царя Миноса I – и мысли о единомъ для всей державы Законѣ, который бы иглою, стальною и незримою, пронзилъ бы вѣсь Критъ. – Критская держава и безъ Закона, единаго для всѣхъ и каждаго, представлялася ея вседержателямъ и вседержителямъ многомощною, построенной на вѣка и тысячелѣтія, – словомъ, Законъ былъ ненадобенъ и излишенъ; такъ они мнили: имъ и безъ Закона жилось прекрасно, а чернь, чернь на то и чернь, чтобъ быть вѣчно-недовольною. Правители критскіе если что и любили застывшее, крѣпкое, не могущее быть отмѣненнымъ или же измѣненнымъ, то лишь хладъ мраморнаго своего чертога, величайшаго изъ всѣхъ дворцовъ критскихъ, который былъ для нихъ олицетвореніемъ державы, данной имъ Судьбою въ правленіе; любили они и незыблемость своего трона, которая также представлялася и священною, и радующей сердца – не только самихъ правителей, но и всѣхъ – отъ мала до велика – слугъ Престола.

Случись, однако, узрѣть вышеописанные нами обряды не разъ призывавшемуся въ нашемъ повѣствованіи человѣку позднихъ, слишкомъ позднихъ эпохъ, онъ, быть можетъ, прыснулъ бы со смѣху – и съ чистой совѣстью, мня подобное уже преодоленнымъ самимъ собою, изжитымъ. – Какъ если бы и онъ, сей наблюдатель поздній, изжилъ всѣ привычки, обряды, обычаи – самъ, самостійно, благодаря лишь себѣ самому; однако, мы не вѣдаемъ тѣхъ, позднихъ, кто изжилъ бы въ себѣ всё что только можно изжить и избыть: привычки, обряды, обычаи лишь мѣняются – отъ эпохи къ эпохѣ, ихъ формы перетекаютъ изъ одного въ иное, струяся по потоку временному, словно ручей, но суть остается одна, а не вовсе исчезаетъ, какъ ему, позднему, возможно, хотѣлось бы думать; и едва ль позднія, слишкомъ позднія разновидности ихъ чѣмъ-либо лучше и выше. Человѣкъ по волѣ создавшаго всегда человѣкъ, слишкомъ человѣкъ; говоря инако: многое, многое пришлось бы ему изживать, дабы претворить себя въ Человѣка: въ Личность. Однако кто болѣе себя мнитъ Личностью въ наше время, какъ не человѣкъ связанный, мнящій свое неродившееся Я самымъ драгоцѣннымъ изъ всего сущаго, мѣриломъ единымъ: всего бытія. – Ибо одно дѣло ратовать за Я (то есть не только наиблагороднѣйшее дѣло, но и дѣло изъ наитруднѣйшихъ), иное – подражать Я имѣющимъ, выдавая мелкія свои себялюбіе и своекорыстіе за Я-сознаніе, за уже обрѣтенную Личность.

Потому будемъ же – сказать полувѣрно – снисходительны къ обряду, уходящему корнями въ представляющуюся едва ли не довременною древность, отстоящую отъ насъ толь далеко, что дѣломъ неудивительнымъ было бы назвать сіе немогущее быть сосчитаннымъ въ годинахъ разстояніе – межъ нами и началомъ появленья сего обряда, выказывавшимъ себя, напомнимъ, весьма древнимъ уже и для нашихъ героевъ, – бездною. – Словомъ, полувечность раздѣляетъ сего поздняго наблюдателя и зарожденіе священныхъ игрищъ, а потому не съ улыбкою поглядимъ на происходившее, но съ почтеніемъ – если не къ самому сему явленью, то хотя бы и къ разстоянію длиною во всю человѣческую исторію. Но не забывая быть снисходительными и почтительными, всё же отмѣтимъ: менѣе всего здѣсь должно видѣть борьбу духа, сознанія,

человѣка, Я надъ плотью, безсознательнымъ, природою, Мы; ибо всё вышеописанное есть пареніе природы въ природѣ – ради природы и милостью природы.

Таковъ былъ веселонравный Критъ въ священные свои дни. И сими празднествами, а не хладомъ Дворца кносскаго, мѣрно бьется огромное, омываемое морями сердце Крита. – Казалось, черно-красное царство знавало лучшіе дни.

* * *

Прошла если не Вѣчность, то всё жъ время достаточное, дабы сѣявшееся въ день молебствія взошло и показалися бы всходы. Однако сѣмена не всходили и всходовъ не было. Лишь кое-гдѣ выглядывало изъ истомленной земли нѣчто чахлое и обреченное сгибнуть, не давъ плодовъ. Причиною неурожая было палящее безъ мѣры Свѣтило, сожигавшее едва ли не всё имѣвшее начать жить. Безплодными становилися поля. Многія рѣки, сіи сосуды страны, пересохли и не давали собою живительной для всего живого влаги. Народъ тотчасъ же осозналъ: гладъ заступалъ угрозою. И былъ онъ истощенъ и истомленъ жаромъ безплодящимъ, всё было бѣлымъ-бѣло – до боли въ глазахъ. – Солнце наблюдало за всѣмъ, за каждой букашкою, надзирало, слѣдило, и, обычно благословляющее всё происходящее по волѣ *одного слѣпца*, нынѣ было оно обезпокоено, ибо чуяло, что мѣрности святой что-то угрожаетъ, что-то зрѣетъ. И било оно всё сильнѣе лучами, страшное въ мнимо-лучистой своей силѣ, всецарящее, но не находило отвѣта. И было Солнце окомъ: *одного слѣпца*.

Глава 3. Нищіе, или кабацкія страсти

Критъ разстилался ширью полей, залитыхъ Солнцемъ; вѣтеръ уносилъ безвозвратное; о, каковы приморскіе вѣтра – отдохновенье для нуждающагося! – соленые, рѣзкіе, свѣжіе, готовые вдохнуть въ душу уставшаго путника второе дыханье, возродить его къ жизни. Но словно на всёмъ была печать бѣды.

Вдали виднѣлась площадь, которая всегда была оживленной въ тѣ часы; кипѣла людомъ площадь; торговалось всё – бездѣлушки восточныя и египетскія особливо, быки, животныя священныя для мѣстъ сихъ, утварь для закланій (уже, какъ правило, не человѣческихъ, но животныхъ), снѣдь и рабы. Нѣкое сборище крѣпкихъ малыхъ, именовавшееся стражею, расхаживало по торжищу съ короткими кинжалами, выискивая тѣхъ торговцевъ, которые совершали сдѣлки покрупнѣе, дабы собрать съ нихъ причитающееся.

Критъ временъ давнихъ, только начинавшій знакомство съ микенцами, временъ отцовъ царя Миноса, былъ на дѣлѣ западною окраиной Востока, послѣднимъ его звеномъ: геополитически; хотя и подлинно самобытной: культурно; геополитически Критъ растворялся: въ Востокѣ; культурно – стоялъ на уровнѣ Востока, но внѣ Востока, порою первенствуя: не подражая ему и не рабствуя у него, но его переосмысляя, а послѣ – синтетически вбирая необходимое по своему усмотрѣнію, образуя цѣлое и рождая цѣльность, созидая новое и небывалое, и сіе новое и небывалое было своимъ, живымъ своимъ, что, конечно же, роднило минойцевъ съ греками слѣдующаго тысячелѣтія. – Мнѣніе это (о нѣкоторой геополитической неполноцѣнности и слабости) раздѣлялъ, однако, мало кто изъ критянъ, и оно, конечно, почиталось оскорбленіемъ. Востокъ – volens-nolens – читался во всёмъ, и едва ли не любому человѣку духа, ей богу, было бы здѣсь душно безмѣрно – случись человѣку позднихъ эпохъ оказаться въ эпохѣ столь ранней, – и вовсе не отъ жаровъ аэра расплавленнаго; и возскорбело бы сердце его. – Здѣсь не было напечатлѣній подлинно божественнаго, здѣсь была плоть, обожествленная плоть, но не было духа. Надо всѣмъ – утѣснительный туманъ язычества, плоти, здѣшняго. Душно здѣсь духу, о, какъ душно!

Посреди торжища собрался людъ, который то и дѣло пугливо разступался: предъ «вящими людьми», знатными, шедшими не спѣша, но съ одышкою, дыша тяжело, съ высоко поднятыми головами, вытирающими съ помощью слугъ потъ съ лица. Поодаль отецъ семейства прилюдно поучалъ дитятъ своихъ, говоря инако: побивалъ ихъ; сѣкъ: для вразумленья. Близъ нихъ сидѣла распухшая не то отъ многихъ родовъ, не то отъ голода (не отъ обилія же поглощаемой пищи!), краснаго цвѣта лица матушка; тяжелымъ, горестнымъ смятеніемъ являло себя лицо ея: словно не одна какая кошка скребла на душѣ ея, а цѣлая стая – и не по душѣ, а по Себи ея, и не скребла, а царапала, разрывая въ клочья царапаемое: потроха души. И было людно. Всё, однако, взоры – жадные – устремлены были къ битому мѣсту: били тамъ нѣкоего вора, укравшаго не какъ его братъ – одну мѣру зерна, но одного лишь цыпленка, вора, изнемогавшаго подъ неисчислимыми ударами плети; кто-то, распихивая локтями собравшихся, вопилъ «Р-р-р-разойдись, р-р-р-робята». Безъ мѣры стегалъ вора палачъ, разъярившійся, полуголый, потерявшій и долю человѣческаго въ хищномъ своемъ взорѣ. Билъ онъ и прикрикивалъ гнѣвно:

– Будетъ тебѣ, тать: вина твоя всему честному люду вѣдома. Будешь вѣдать, какъ добро царево расхищать.

И билъ онъ, покамѣстъ преступникъ, переступившій законъ неписанный, не упалъ: подъ неистовое рукоплесканье толпы, кричавшей порою «Повиненъ смерти!»; тѣло его претворилося въ кровяное мѣсиво; обезсилѣвъ, онъ уже не возводилъ очи горѣ и не выкрикивалъ слова о помощи. Народъ, довольный зрѣлищемъ, сталъ расходиться. Надсмотрщикъ, подойдя къ упавшему и коснувшись его, молвилъ:

– Забилъ до смерти – и клеймо не ставь: наказы царскіе перевыполняешь.

– Служу Родинѣ, – отвѣтствовалъ палачъ съ рвеніемъ достодолжнымъ.

– Служи, служи да мѣру вѣдай.

Поодаль подъ полдневнымъ свѣтиломъ сидѣли, глядя на торжище, бѣдняки да нищіе, сокрушенные да радостнопечальные: палимыя солнцемъ порожденья безвременья. Одинъ изъ нихъ, старецъ сѣдо-сѣрый, согбенный, съ брадою длинной, началъ бесѣду:

– Зрѣлося мнѣ во снѣ: вотъ на сей-то землѣ, здѣся, будетъ житье-бытье: всѣ богаты, всѣ равны – власти нѣтъ да и жрицъ не видать; люди-то небось свергли власть ихнюю; потому и зажили, аки бози, а не аки псы (какъ нынче мы длимъ животъ свой, житья сытаго не вѣдая). Говорю вамъ всѣмъ: ладно, ладно будетъ жительствовать людъ…Эхъ…Словно всё счастье – тамъ, у нихъ, словно они всё счастье себѣ забрали, насъ обокравши, и намъ лишь горе оставили…часъ отъ часу не легче…

Нищій, едва живой, изсохшій и безрукій, помоложе, но съ напечатлѣньемъ большаго недовольства своимъ бытіемъ, съ опытомъ большихъ бѣдъ, отразившихся на лицѣ его, со взоромъ-скорбью, кряхтя, молвилъ:

– Да, тяжела – что и говорить-то – жизнь наша, дѣдо: тяжела, горька и безрадостна: конца и края бѣдамъ нѣту. Собачья жизнь! Народъ – отъ мала до велика – нынь злобится зѣло! Попущеніе Матери!

Узрѣвшій сонъ отвѣтствовалъ вздохомъ тяжелымъ, а послѣ добавилъ, и лицо его стало омытымъ слезами:

– Ты, братъ, потерпи…придетъ и наше время…минетъ бѣда… жили мы вѣдь нѣкогда, и предки наши жили – было времечко. А нынь живемъ, какъ купленные за злато. Но и черезъ золото слезы льются, да и богатство – съ рогами, бѣдность съ ногами. Нищета, она прочнѣй богатства, оно – пухъ, только дунь на него – и нѣтъ; иль птичка какая: гдѣ захотѣла, тамъ и сѣла; иль какъ вода: пришла и ушла. Но пройдутъ еще тучи, и станетъ небо безоблачнымъ, чистымъ.

– Кто богатъ, тотъ и рогатъ, тяжело на душу богатство ложится, богатому сладко ѣстся, да плохо спится. Но что толку о томъ говорить – пустое. Живемъ – покашливаемъ, ходимъ – похрамываемъ; счастливы бывали, да безсчастье въ руки поймали, а нынь токмо во снахъ счастье, а наяву напастье. Я тебѣ вотъ что лучше скажу: а бѣды отчего, откуда юдоль-то вся,

въ дугу сердце согнувшая? А вотъ откуда: всё потому, что число безграничное мѣръ добра, нами созданнаго, отдали мы, а не отдать не могли. Но коли ранѣе отдавали богамъ, то нынь жрицамъ, симъ маткамъ критскаго улья. Мати превеликая, всё родшая, яви намъ милость, богинямъ лишь свойственну: горе черное отъ насъ отжени да счастье намъ ниспошли. О Мати, Мати… – отвѣтствовалъ болѣе младой.

– Мудрость Ея умъ нашъ премного превышаетъ…О Зиждительница! О Добротворная! Только Ей и плакаться! – вторилъ старый.

– До царя далеко, а до Матери близко! Цѣлыя, говоритъ, селенія нынь въ долгу предъ высокими, а они послѣднюю душу тянутъ, – говорилъ младой. – Какъ ни трудимся – всё должники! Горе – что море: не переплыть, ни вылакать. Этакой бѣды не заѣшь, не пережуешь, а пережуешь – не проглотишь. Нѣтъ намъ ни смерти, ни живота.

– Выпало намъ жити здѣся, братцы. А хдѣ лучше-то? Вездѣ, говорятъ, всё одно. Закрома тучнѣютъ – отъ зерна полнятся, а людъ худъ и едва на ногахъ отъ глада стоитъ. Людъ всюду подвергается участямъ многогорькимъ. Такова доля наша.

– Всё жъ господамъ отдали…

– Поборы нескончаемые! Охъ, солоно житье наше, солоно. Было время – осталось одно безвременье.

– Конца и края имъ нѣту! Охъ, горемычны лѣта сіи. Безъ топора зарубили! Было времечко – осталось одно бремечко.

– У меня давеча всѣхъ коровъ да быковъ забрали, увели. Оставили лишь куръ. Не роди, Мати, на бѣлый свѣтъ – хоть утопиться, хоть удавиться! Стоимъ – какъ на угольяхъ!

– А у меня вѣсь ячмень, да медъ, да фиги. Всё схитили. Сидимъ, какъ въ огнѣ, братцы, и горе мыкаемъ!

– Обкрали насъ до нитки до послѣдней, а при томъ на дворѣ недородъ сплошной. О Мати!

– Телята пропали, а овецъ покрали. Необлыжно скажу: изъ горла кусъ вырвали!

– Ячмень! Ячменя не оставили у меня! Соки послѣдніе выжимаютъ! – крикнулъ проходившій мимо; и пошелъ далѣе.

– Ой овесъ, мой овесъ! – горюючи крикнулъ кто-то.

– Когда ужъ печаль удалится, и гладъ, и моръ? Терпѣть ужъ больно невмоготу, – сказалъ тотъ, что помоложе.

– Сказали жъ намъ: молитеся усерднѣе, а вы всё стенаете да плачете, – обратился къ нимъ кто-то изъ толпы, проходя мимо сидѣвшихъ.

Третій изъ сидѣвшихъ, наиболѣе мрачный обликомъ, изнуренный, но съ взоромъ отнюдь нетусклымъ, съ презрѣньемъ на лицѣ, усмѣхаясь вставилъ и свое словцо:

– Нѣшто жить-то не опротивѣло, коль страданье непереносно…Надѣетесь на то, чего отродясь не бывало. Пустое! Рѣчи пустозвучныя…Ладу не будетъ. Въ обманѣ жительствуете отъ вѣка, безъ вины виновные! Я-то думаю, что быти худу: вонъ у женки у чьей-то овца двуглавая родилася, и двѣ куры тотчасъ подохли – отродясь такого не бывало. А по рынку шелъ я да слушалъ: у какой-то бабы коза двухвостая родилася; и что? Да двѣ дни она не прожила: богамъ, говорятъ, неугодно оно. Истинно ты говоришь, однако, что отродясь не бывало, чтобъ ремесленники жили, аки рабы градскіе и чтобъ голодъ питалъ нашу ненависть. Отродясь не бывало! Что жъ, что жъ, надѣйтеся, а я пойду куды глаза глядятъ, можетъ, что и найду. А вы сидите, надѣйтесь. А я думаю: худу быти, а счастья-то не будетъ и горе придетъ. Зачали судить-рядить: дабы судить-рядить, больше вашего повидать слѣдовало. Навѣшаны на васъ мѣди тяжелыя, а снять не можете. Быти худу, ежли сидѣть сложа руки.

Тотъ, что помоложе, безрукій, сталъ утѣшать его и уговаривать не уходить, что ему удалось: «Тѣмъ, что въ кручинѣ бытуютъ, въ юдоляхъ, лучше вмѣстѣ быти».

Такъ говаривалъ людъ – и не только на Критѣ – тѣхъ временъ. Вдругъ молвилъ безрукій:

– А я вотъ что скажу: а намѣренія ея, можетъ, и въ томъ состоятъ, чтобъ жрицъ, жестокихъ и сытыхъ гладомъ и моромъ люда, да всѣ Дворцы, что на Критѣ стоградномъ обрѣтаются, и всего пуще Дворецъ кносскій, гнѣздо Зла, въ бездну низвергнуть. Въ бездну! Она ихъ пугаетъ, а не насъ. Ихъ, а не насъ! Намъ-то чего терять? Али не потеряно всё? Да хоть въ бездну всё катись.

– Да, ты правъ: всё по мудрости Матери происходитъ, да, – отвѣтилъ седобрадый, почесывая бороду и воспоминая прошлое. – И впрямь природа, она постепенность любитъ. Всё, что ея волею происходитъ, подготовляется долго, и на всё причина своя, да.

– Какъ колосъ растетъ изъ сѣмени, прорастаетъ, деревомъ становится, а послѣ гибнетъ, такъ и Критъ нашъ – выросъ давно, сухъ онъ, высохъ вѣсь, упадетъ скоро, – съ воодушевленьемъ говорилъ младой, подергиваясь. – Вона слухъ по нашему по Криту пошелъ, что трусъ, какого отродясь никто не видывалъ, когда Мать-Земля колебалася, аки скакунъ бѣшеный, было на земляхъ западныхъ; ты гляди что: селенія-то не постраждали (сколько ужъ имъ еще-то страждати!), а Дворецъ одинъ рухнулъ. Рухнулъ, дѣдо!

– Да, говоришь ты складно, несмотря на годы юные; я понялъ, къ чему ты клонишь. Но не знаю, не знаю… – медленно произнесъ старецъ. – Коли во время благое, привычное намъ время, природа за годъ единожды умираетъ – зимою, – воскресая лѣтомъ, то нынче-то она два раза сгибла. Охъ, жизнь наша тяжкая, горькая. Криту нашему – конецъ нынь, думаешь? Ой, не приведи Матерь, не приведи. Боги, безсомнѣнно, недовольны нынь… Чую – вотъ-вотъ грянетъ что-то. Но, можетъ, оно и правъ ты: мы по глаголу Матери жительствуемъ, мы, страждущіе, а вотъ жрицы и прочіе люди вящіе – нѣтъ. Стало быть, намъ, лишь намъ должно за Критъ молитися богинямъ. Но какъ, какъ умилостивить ихъ намъ? Тщетны и думы наши, и дѣла. Охъ, бремя тяжкое.

– А, можетъ, и не Криту конецъ, а Иматѣ со слугами его.

– Складно, складно говоришь; эхъ красно твое словцо! – отвѣтилъ старикъ, на коего снизошло воодушевленіе болѣе младого. – «Иматѣ – конецъ со слугами его»: да объ этомъ кто нынче только не мечтаетъ, неволя дюже опротивѣла сердцу народному, да что намъ дѣяти?

– Я тебѣ вотъ что скажу, дѣдко, – приблизившись къ сѣдому младой говорилъ страстно и быстро, сбивчиво, съ паузами. – Ежель что и подготовляется Матерью и прочими богинями, то безначаліе. Ты гляди по сторонамъ: народъ, народъ восколыбнулся ужъ, а народъ не дуракъ, не дуракъ.

– А я, можетъ-то, и слыхалъ о трусѣ, да женка не велитъ…

– А что не велитъ-то, дѣдко? Эхъ, встрепенуться бы, чтобъ всё, душу переполняющее, тяготящее, въ дѣянія бъ вылилось, эхъ…

Третій, наиболѣе мрачный, всталъ (доселѣ онъ сидѣлъ) и произнесъ не безъ гнѣва:

– Да вы что, вы подъ женками да жрицами (а тѣ – подъ богинями) бытуете-то, подъяремные! Тфу на васъ. Я, Акай, не таковъ!

– А ты пришлый: вотъ и дивишься… – отвѣтилъ старый.

– Да и кто не подъ ними-то на Критѣ? Гдѣ ты такихъ видывалъ? – съ большимъ удивленьемъ вопросилъ болѣе младой.

– Ты не серчай на насъ и на порядки наши! Ты – пришлый, Акай, посему не вѣдаешь жизни нашей, критской: какъ заповѣдали намъ богини жити, тако и живемъ. Да хошь не хошь, а всѣ мы подъ Дѣвами ходимъ, и всегда такъ было, – повернувшись къ Акаю, сказалъ старый. – Да и говорятъ на Критѣ разное – говорятъ, что куръ доятъ. Ахъ, престало вѣриться мнѣ что-то въ безначаліе, не вѣрится нынь.

– Подъ бабами! Подъ людинями! – въ гнѣвливомъ презрѣніи произнесъ третій.

– Нечестивецъ! Нечестивецъ, что глаголешь ты? Ахъ ты, негодникъ!

– Что, небось обидѣла тебя какая? Что, душу ранила? Ну, и подѣломъ тогда. А почто притекъ на земли наши?

Акай, къ всеобщему удивленію, помолчалъ и молвилъ:

– Коли всѣ подъ женками будемъ, безначаліе не родимъ, тако и будемъ влачить убогое свое житье-бытье, гладомъ моримы, поборомъ тѣснимы. Не бывать тогда правдѣ на землѣ критской! Въ иныхъ сторонахъ люди говорятъ: всё отъ боговъ, окромя дѣвъ. Ты, ты и ты – вы всѣ! – женаты на Боли…нѣтъ, что говорю я? Вы замужемъ за Ней; съ могилою обвѣнчаны вы!

– А гдѣ жъ ты такого на Критѣ найдешь?

– На Критѣ, видать, нигдѣ. Для безначалія, для жизни сытой надобенъ намъ иноплеменникъ по рожденію, но живущій на Критѣ давно, безженный и безсемейственный. Съ сердцемъ мѣднымъ да самъ себѣ голова. Намъ надобенъ тотъ, у кого воля – мѣдная, ризы – бѣлыя, а рѣчи – огневыя. Только такой гожъ для дѣла сего.

– Да, лихой ты, Акай, человѣкъ, лихой, да…мужикъ ты ядреной, не видалъ такихъ на земляхъ нашихъ; сразу видать, что самъ ты не мѣстной, дальной, – сказалъ старецъ.

– Я, братья, родомъ издалече, человѣкъ я вольной и гдѣ только не бывалъ: и въ земляхъ сѣверныхъ, дикихъ, и въ южныхъ пустошахъ.

– Да, порядку въ насъ, бородатыхъ, не будетъ, даже ежели сплотимся, – сказалъ въ свою очередь младой.

– Да и не сплотимся сами.

– Братья, о семъ глаголы глаголать надобно не посередь торжища, да и охали день до вечера, а поужинать нечего, – предложилъ Акай.

– То вѣрно!

– Однорукая должна мнѣ еще полбочки вина неразбавленнаго, крѣпкаго, да снѣдь. Слово долгое нынче не дозволено: то не ко времени.

Глаза обоихъ слушавшихъ загорѣлися блескомъ жаднымъ.

– Ей, добредемъ, братъ, до избы до распивочной! Ободримся, горести утолимъ – въ винѣ! Пить намъ – дѣло любое. Испьемъ винца! – сказалъ младой.

– Бражничать – дѣло нынь святое, а тревоги унесетъ съ собою молитва, – сказалъ старецъ.

– Поспѣшайте за мной! – сказалъ Акай.

Шли они мимо ямъ помойныхъ, полныхъ смрада, гдѣ также были мясо гнилое, кости – рыбьи и звѣрьи – и нѣсколько человѣческихъ труповъ. Шли вмѣстѣ, а каждый думалъ о своемъ. По дорогѣ мужики увидали колесо – новшество для тѣхъ временъ! – и еще долго толковали, доѣдетъ ли оно до Феста; Акай окончилъ бесѣду ту словами: «Сидя на колесѣ, гляди подъ колесо!». Старецъ сказалъ ему:

– По глазамъ вижу: большая у тебя судьба. А у насъ малая.

Не прошло и пятой доли часа, и миновали они смрадъ да трупный духъ и оказалися возлѣ питейнаго заведенія, коимъ завѣдовала Однорукая – страшная и крайне неопрятная старуха, глазѣющая окрестъ подслѣповатыми глазами, извергающая въ міръ недовольство и презрѣніе.

Заведеніе знавало лучшіе свои дни: было оно тогда любимо не только мѣстнымъ сбродомъ, но и съ иныхъ поръ также и крестьянами, ремесленниками, дѣлившими тогда участь свою съ горчайшею участью рабовъ, или купленныхъ за злато, какъ было принято выражаться. Въ дни столь горькіе чернь предпочитала питіе снѣди, помышляя, что лучше ужъ – коли есть нечего – быть пьяну въ стельку, нежели быть трезвымъ и голоднымъ; чернь отдавала послѣднее, пропивалась до рубахи до послѣдней, дабы забыться отъ черныхъ своихъ юдолей въ мрачномъ семъ мѣстечкѣ, теряя остатки и останки себя, погружаясь въ лоно Себи: забывалась въ пьяноплотяномъ угарѣ.

Въ кабакѣ томъ изукрашенная спиралевидными мотивами дверь (ручка двери, какъ и многія иныя критскія ручки, была въ видѣ букранія: дабы открыть её, надобно было дернуть кольцо, продѣтое межъ глазъ быка) всегда была открыта. Полнымъ было заведеніе. Но даже будучи полнымъ, находило оно пристанище для страждущаго. Въ ходу былъ натуральный обмѣнъ: пришедшій отдавалъ медъ, виноградъ, скотъ, украшенія (что, впрочемъ, бывало

рѣдко) взамѣнъ получая столько дикаго и грубаго вина (вдобавокъ съ настоями нѣкихъ травъ, извѣстныхъ только хозяйкѣ), чтобы заснуть и въ – иныхъ случаяхъ – не проснуться болѣ. Потому завсегдатаевъ было мало: многіе приходили въ распивочную избу и тамъ же навѣкъ и оставались: пройдя вдоль и поперекъ всѣ лабиринты страданій, находили они тамъ вѣчное свое пристанище.

Вечерами и ночами возлѣ питейнаго дома свѣтился бѣлесо-синеватымъ коптящимъ пламенемъ фонарь – лампа, горѣвшая отъ грязнаго масла. Темныя, темныя дѣла вершилися не только близъ мѣста сего, но и внутри заведенія: пьяныя драки, убійства, случавшіяся частію отъ пьяныхъ дракъ, частію по волѣ старухи (ежель то ей было выгодно), и тогда она подмѣшивала въ вино яды, незамѣтные во вкусѣ вина (да и кто смаковалъ ея вино: не за тѣмъ его пили).

Фонарь едва ль разсѣивалъ мраки окрестные. Три брата по несчастью приблизились къ двери и не стучавши вошли. Гоготъ обрушился на нихъ, и блеянье скота, и лай собачій, и кудахтанье куръ; смрадомъ и козлинымъ духомъ дышалъ воздухъ внутри; и были смрадны и козлины разговоры сидѣвшихъ – и завсегдатаевъ (таковыхъ и нынѣ было мало), и новоприбывшихъ. На заплеванномъ полу лежали тѣла, и одному богу (неизвѣстно, правда, какому) было извѣстно, живы ли были лежавшіе; въ углу дрались, во хмелю будучи, но неохотно, вяло, безъ страсти; буйныя фигуры не виднѣлись; въ другомъ углу сидѣлъ-лежалъ одинъ – свинья-свиньей – судьбу кляня: вино то – зелье презлое – валило съ ногъ любого; въ третьемъ углу тѣнь рвала на себѣ одежду, стеная. Иные имѣли такое выраженіе лица, что дай имъ, скажемъ, кочергу, убили бы на мѣстѣ – и давшаго, и иного любого. Иные пѣли козломъ, иные – козла драли; иные – съ козлиными бородками – служили за козла на конюшнѣ; иные были козлоноги; иные – встали козломъ и такъ и стояли; иные – глядѣли бычкомъ, а были и настолько опьянѣвшіе, что и пили бычкомъ; но, безъ сомнѣній, всѣ неказистые и думать не думали о козлятинѣ, ибо и сниться она имъ престала.

Никто не оглянулся на пришедшихъ. Акай, сѣвши, спросилъ вина у Однорукой, сперва сдѣлавшей видъ, что не понимаетъ его (что означало: она-де не помнитъ о своемъ долгѣ, или платѣ Акая). Въ отместку онъ схватилъ её за перси, но вскорѣ отпустилъ, получивъ пощечину, развеселившую его.

Затхлый воздухъ пьянилъ: безъ вина. Курилися травы, дурманя голову. Козлогласили козлодеры, но ничто не козлилось. Горѣлъ огонь и собою готовилъ кушанья, о коихъ стоило бы умолчать: изъ свѣжаго были только кошки да псы…

– Хозяйка, еще вина! Еще, чортъ бы тебя побралъ! – крикнулъ нѣкій пьяный мужъ.

– Будетъ съ васъ, – кряхтя отвѣтила старуха.

– Ты, однакожъ, подойди. Не лайся, дура.

– Ладно, ладно. Чего случилося, что не такъ?

Съ улыбкою торжествующей указалъ мужъ напечатлѣнье на десницѣ, знакъ того, что онъ одинъ изъ братьевъ критскихъ, что означало: онъ человѣкъ военный, служивый, и можетъ дѣлать съ нею всё что пожелаетъ. Поблѣднѣла Однорукая. Думала: пропала. Сдѣлала поклонъ и спросила, чѣмъ могла бы быть полезна. Служивый отвѣтилъ:

– Дѣло твое самовольное и недоброе…ты…вино-то отравное! Ты почто работниковъ изводишь, губишь, дрянь?

– Такъ я жъ кого неволю-то, отецъ мой: сами идутъ!

– То вѣрно. Но наживаешься ты (и я вѣдаю размѣры наживы твоей) на горѣ людскомъ. Гляди – самой богатой стала изъ люда.

– Богатые, они въ трахтиры ходютъ, почему бѣднякамъ не имѣть кабакъ? Солнце, оно для всѣхъ свѣтитъ: и для богатыхъ, и для нищихъ.

– Мнѣ твои козы да куры съ грошовыми браслетами ненадобны – родомъ изъ этой блошницы: я видѣлъ твою дочь давеча. Смекаешь, паскуда?

– Смекаю, отче. Но невинна она.

– Тѣмъ лучше.

– О боги: послѣднее отбираютъ…

Въ сущности, оглядываясь на грядущее по отношенію къ происходившему и на прошедшее по отношенію къ намъ, можно сказать: народъ всегда былъ гораздъ обманывать самъ себя: одни бѣднѣли, низвергаясь въ нищету, иные на этомъ жирѣли. Жирѣвшей была и сія старуха, имѣвшая, несмотря на предпреклонный для сей эпохи возрастъ, обликъ весьма еще привлекательный для иныхъ посѣтителей ея лавки: чего только не увидится глазами мертвецки и полумертвецки пьяныхъ. Она же, напротивъ, была трезвѣе всѣхъ трезвенниковъ и не опасалась почти одной (ей помогали лишь два ея сына) содержать заведеніе такого рода. Однако Однорукая, смуглая и сильная, толстая (это рѣдкость для Крита тѣхъ лѣтъ), прихрамывающая на одну ногу (послѣднее было издержкою ея рода занятій), всё жъ могла за себя постоять и безъ помощи крѣпкихъ своихъ сыновей; рядомъ съ поясомъ носила мѣдный ножъ и изрѣдка пускала его въ ходъ; никто не былъ противъ. Къ счастью или не къ счастью, нашимъ путникамъ не дано было увидать боевые ея навыки.

Испросили вина. Пили. Молчали. Пьянѣли. Если старцу и болѣе молодому становилось всё лучше, то Акай преходилъ въ тучу; всё болѣе и болѣе грознымъ и недовольно-ярымъ было лицо его. Напротивъ нѣкіе два молодца затянули пѣсню, поя невпопадъ, но пѣсня та растворялась во всеобставшей неудобь-произносимой брани. Черезъ мгновеніе Акай всталъ на столъ и изрекъ страстно – съ вдохновеніемъ и краснорѣчіемъ небывалымъ:

– Сдѣлайся овцой – а волки готовы! Эй бѣдняки, эй нищіе, эй спящіе! Возстаните! Что спите? Вамъ не опротивѣло жить, какъ живете? Не лучше ль сгибнуть въ сѣчѣ за дѣло правое, – тутъ онъ обвелъ взглядомъ вѣсь кабакъ съ презрѣньемъ нескрываемымъ, – а не такъ, какъ вы, мыши да отъёмыши? Не могутъ быть жестоки завѣты Божьи. Всё дѣло въ жрицахъ. Долой жрицъ: не опротивѣло ли вамъ, мужамъ, быть овцами, поѣдаемыми волками: жрицами? Не опротивѣло ли дѣлить съ рабами Судьбу черную? Безумцы!

Многіе опившіеся встрепенулись, иные проснулись.

– Да, большая правда въ словахъ твоихъ, житья не стало, юдольные дни, плачевное всюду, но что о томъ тужить, чего нельзя воротить, – говорили тѣ, что помоложе и продолжали пить.

– Да чушь несетъ, чушь! Что удумалъ – сказать страшно! Умомъ блудитъ, дурнословъ! Бодливой коровѣ богиня рогъ не даетъ! Ибо жрицы…онѣ богинямъ служатъ, ты, что противу богинь рѣшилъ противустать? Ты, братъ, говорю, на чужой каравай ротъ не разѣвай! – ухмыльнулся сидѣвшій въ углу старикъ и, вопросительно поглядѣвъ на него коровьимъ глазомъ, добавилъ: – А тебя-то какъ звать?

– Что, думно тебѣ – судъ правишь, пришлый? Не къ лицу пришлому о святыхъ нашихъ порядкахъ судить да рядить, – вторили ему тѣ, что постарше. – Къ тому жъ, думать вѣдь не велѣли, неугодно оно. Пусть, говоритъ, люди вящіе думаютъ – то ихъ забота. А для насъ умъ-то – во смиреніи, а не въ думахъ. Ищи кротости, чтобъ не дойти до пропасти; возносяся – смиришься, а смиряясь – вознесешься. Не вороши, говоритъ, бѣды, коли бѣда спитъ, бѣда бѣду родитъ – третья сама бѣжитъ. А нынь бѣда бѣдой бѣду затыкаетъ. Мірская волна – морская волна, сегодня такъ, а завтра эдакъ, всё само собою перемѣнится.

– А я думаю – неправый то судъ, – сказалъ старикъ въ углу. – Затѣялъ худо – не быть добру – быть горю! Лучше, говорю, тихими проживемъ, мятежъ бо дѣло злое. Ты, пришлый и Матерью да богинями забытый, на нашъ Лабрисъ больно-то не жабрись: Лабрисъ-то, онъ и по головѣ бухнуть могетъ и сѣтью обернуться, въ кою попалъ да и не выпутаешься! Говори, говорю, да не заговаривайся. Наше дѣло маленько да аленько, о большомъ и думать неча. Голыми родились, голыми и помремъ. Дѣй добро и жди добра.

– Какъ вы не разумѣете, – продолжалъ какъ ни въ чёмъ ни бывало многострастную рѣчь Акай, – чѣмъ хуже намъ, тѣмъ лучше имъ. Коли бражничать сверхъ всякой мѣры не перестанете, клянусь всѣми богами, переломаю хилыя, пропитыя ваши кости и превращу васъ въ муку.

А повернувшись къ старикамъ въ углу Акай усмѣхнувшись сказалъ: «Тебѣ, какъ свиньѣ, вѣкъ на небо не глядѣть. Не дуйся, коровка, не быть тебѣ бычкомъ. Да и не къ лицу старой кобылѣ хвостомъ вертѣть!». Раздался одобрительный смѣхъ, исходившій отъ молодыхъ. Глядя на нихъ Акай добавилъ: «Народъ корову за рога держитъ, а сторонніе люди молоко доятъ. Но кобыла заржетъ на критской землѣ, жеребецъ откликнется на Идѣ-горѣ. Смекаете?».

Нищій, сидѣвшій у очага, видимо, не слушая и не видя, пилъ, какъ пилъ ранѣе. Въ одно мгновеніе Акай очутился возлѣ него и пронзилъ его короткимъ (но не кроткимъ) своимъ мечомъ. Воцарилась тишина. Иные изъ пьяныхъ словно протрезвѣли. Одинъ изъ нихъ сказалъ: «Проснемся же», – и заснулъ. Акай пронзилъ и его. Собравшіеся потеряли даръ рѣчи – и безъ того потерянный: пьянствомъ.

– Собаки любятъ хозяевъ, держащихъ ихъ на цѣпи и впроголодь, и лаютъ на своихъ освободителей. Жизнь есть лишь у одного человѣка на Критѣ: у Имато-царя; остальные – въ погребахъ да темницахъ прозябаютъ угнетенными да подъяремными. Но, братцы, я вотъ что скажу: бей быка, что не даетъ молока! А дворцы рухнутъ тогда. Безъ костей рыбки не бываетъ и нѣтъ пчелки безъ жальца. Да и прежде смерти не умрешь, а кто нынь малъ – завтра великъ, а кто нынь великъ – завтра малъ. Удача нахрапъ любитъ, и народится еще лоза плодовитая. До поры ихъ терпимъ, лишь до поры!

– До поры? – крикнуло нѣсколько.

– До поры недолгой… – сказалъ Акай.

– Эхъ, кабы жрицъ тряхнуть. Время, говоритъ, приспѣло! – возгорался одинъ юнецъ.

– Рука ихъ коротка да глаза далеко глядятъ. Да, братъ: кабы Критъ вѣсь отъ запада до востока, съ морей до Иды горы – колыхнуть однимъ махомъ! – говорилъ тотъ, что былъ старше.

– Лихія времена нонче, братъ, – не то времена дѣдовскія, – говорилъ тотъ, что еще старше.

Кто-то, переполненный винной смѣлостью, молвилъ:

– Жрицы, онѣ въ холѣ жительствуютъ, а мы въ худѣ; онѣ лишь о себѣ радѣютъ, о благѣ собственномъ. Зло завладѣло землями добрыхъ! Да, жрицы, онѣ – суки, жующія живую плоть нашу; претятъ онѣ намъ быти, якъ ранѣ. Искони оно было инако. А двухъ смертей не бываетъ, а одной не миновать. Лей, говорю, масла въ огонь!

А сидѣвшій близъ него товарищъ вторилъ ему:

– Піявки, питающіяся кровями нашими. Будетъ съ нихъ!

– Кошки, укравшія изо рта кусокъ послѣдній, лютая смерть ждетъ ихъ! – добавилъ первый.

– Житіе-бытіе наше – что рѣшето дырявое. Суки спесивыя да разжирѣвшія! Питаются кровями и піютъ слезы наши. Въ землю бъ легъ да укрылся, только бъ сего не видать!

– Намъ, намъ принадлежатъ посѣвы, не пашутъ онѣ и не потѣютъ, а лишь жрутъ, жрутъ и тучнѣютъ на народномъ потѣ да крови; такое у нихъ житье, что имъ и умирать не надо – живутъ онѣ, не наживутся – живутъ припѣваючи.

– Долой, говоритъ, ихъ! Ископытимъ ихъ!

– Жрицы – онѣ – препона жизни, вольной и святой, какъ ранѣ. Отложимся жъ отъ нихъ и будь что будетъ!

– Тяготы жреческія скинемъ съ раменъ! Довольно насъ жмали! Истомилися мы, гладъ ежедень долитъ! Бей волчицъ!

– Довольно жалиться – долой жрицъ! Гноятъ жизни наши попусту, соки пьютъ послѣдніе! Ихъ свергнуть – есть потреба въ томъ. Порѣшимъ ихъ! Чѣмъ чортъ не шутитъ!

– Смерть имъ! На осиновый ихъ колъ!

– Повѣсить ихъ всѣхъ до единой – иль разрубить!

– Зальемъ земли критскія: кровью сукъ!

– Воздадимъ, говорю, имъ должное!

– Идемъ, браты, на людей вящихъ! По-иному запоютъ жрицы-то!

– Бей, говорю, утѣснителей!

– Заревыя слова, братъ!

Однако признаемъ: несмотря на многострастныя рѣчи, облакъ унынія и безсилья словно виталъ надъ головами. Но былъ онъ виденъ только Акаю.

Вдругъ иные изъ толпы увидали приближавшихся одѣянныхъ въ латы, немногихъ числомъ. Издали подошедшіе, мрѣя въ аэрѣ, крикнули властно:

– Именемъ царя Имато спрашиваемъ: кто дозволилъ собраніе, неугодное богамъ? Кто ищетъ Смерти?

Толпа молчала. Иные, стремясь быть незамѣченными, спѣшно убѣгали. Иные, напротивъ, сжимали кулаки или брали въ руки окрестные камни. Акай, оцѣнивъ положеніе, велегласно воскликнулъ:

– Не пужайтесь! Со зломъ борются не словами: мечами. Обрушимся же на нихъ лавиною!

Слышались возгласы ободренія:

– Да поразитъ ихъ молнія всеиспепеляющая!

– Да, мы бросили вызовъ Судьбѣ, – всё болѣе и болѣе воодушевлялся Акай, – мы выше Судьбы, намъ заповѣданной, они, они, ввергли насъ въ пучину горестей и бѣдъ.

– Да!

– Дѣло говоришь!

– Заревыя мысли сказываешь!

– Да родится возстаніе! – тихо и торжественно сказалъ Акай.

Его вопрошали:

– Что такое возстаніе?

– Война неимущихъ и голодныхъ противу имущихъ и сытыхъ, нищихъ противу богатыхъ, рабовъ противу господъ… – отвѣчалъ онъ съ достоинствомъ.

– Дѣло благое, отецъ! Заревое.

– Свергнемъ Имату, братья, и поставимъ своего царя. Чаю конца Иматѣ со слугами его. На одно бо солнце глядимъ, да не одно ѣдимъ.

– Кноссъ – сердце Крита, идемъ же на Кноссъ!

– Не сердце – утроба!

Начальникъ критскихъ братьевъ крикнулъ что есть мочи:

– Подлая чернь! Взбунтовавшаяся противу уставовъ божественныхъ. О низкія души!

А Акай тѣмъ временемъ грозно-громно возопилъ, властно оглядывая голытьбу, братьевъ-по-несчастью, и очи его сверкали недобрымъ огнемъ:

– Сорвемъ оковы – обрушимся же на братьевъ критскихъ: аки лавина съ горъ низвергается, такъ и намъ слѣдуетъ низвергнуть ихъ! Идемъ на нихъ!

Часть толпы – и впрямь – лавиною обрушилась на царскія войска, отчего послѣднія дрогнули и бѣжали, не прошло и десятой доли часа: казалось бы, побѣдой увѣнчалась гордая вылазка, однако возставшіе увидали, что спасшіеся бѣгствомъ были лишь передовымъ отрядомъ царскаго войска.

Акай свистнулъ и прорычалъ оглушительно:

– Эй, голытьба! Бѣжимъ, братья: недалече отъ горы Иды есть людъ лихой, туда сіи, – указывая на братьевъ критскихъ, – вовѣкъ не сунутся. Воля тамъ вольная, братцы. Всѣхъ обиженныхъ Судьбою – примемъ. Отсидимся да силы наберемъ. А послѣ – такою лисой по Криту пройдемъ – три года куры нестись не будутъ!

– Да, у Крита, когти, якъ у орла, – молвилъ кто-то, – бѣжать надобно.

– Недужится тебѣ, вотъ и бѣжать совѣтуешь! – говорилъ второй.

– Ой, братушки, что же съ нами будетъ теперя? Что жъ содѣяли, черти окаянные? – вопрошалъ третій. А четвертый добавилъ себѣ подъ носъ: «Быть было худу, да подкрасила встрѣча».

Акаю тѣмъ временемъ думалось: «Заступаютъ дѣла великія. Едва ль здѣсь и дюжина сыщется годныхъ для дѣла сего, но въ томъ дѣло, чтоб и ихъ ото сна пробудить; въ тайникахъ своей души я всё же лелѣю надежду».

– Здравься, Акай, и да покровительствуютъ тебѣ боги и всего пуще богини, во главѣ коихъ всеобщая Матерь, родительница всего сущаго, – сказалъ нѣкій молодецъ годами ни старъ, ни молодъ.

Акай какъ ни въ чёмъ ни бывало продолжалъ, словно говоря самъ съ собою, больше глядя въ никуда, под ноги, то возводя очи къ небесамъ, не смотря на толпу:

– Я бывалъ во многихъ странахъ: вездѣ есть законъ – лишь здѣсь его нѣтъ.

– Что есть законъ? – вопросилъ кто-то изъ толпы.

– То есть сводъ правилъ, что должно, а чего не должно, высѣченный на табличкахъ, неизмѣняемый. А Вы вѣдаете токмо глаголы царя и жрицъ завѣты и уставы божественные, – это законы ваши. Я пришелъ отмѣнить законы сіи и начертать иные.

Вдругъ возсталъ нѣкій богатырь, притворявшійся спавшимъ, и сказалъ:

– Помедли съ возстаньемъ, помедли, говорю. Скоро только блохъ ловятъ. Поторопитесь – попадете блохѣ на зубъ. И пропадете.

Толпа – соборно – вопросила:

– Чего медлить?

– О нетерпѣливые, вы не вѣдаете…не ходите на Иду-гору – богинь прогнѣваете! – отвѣтилъ онъ.

– Пустое сказываешь! Всё мы вѣдаемъ: зачнемъ! Блоха проскочила, столъ повалила.

Акаю про себя думалось: «Въ душахъ ихъ царствуетъ страхъ неистребимый, и покорность, и подъяремность».

* * *

Гора Ида была убѣжищемъ возставшихъ. Немногіе поначалу пошли за Акаемъ. Заря играла на снѣгахъ Иды-горы, вершина коей была вѣчно-одѣяна въ снѣжныя убранства – словно не было и нѣтъ безмѣрныхъ и безмирныхъ жаровъ въ раскаленныхъ низинахъ Крита. Природа даровала покой, и ощутительнымъ былъ хладъ вечнозаснѣженной горы.

Возставшіе знакомились между собою, называя другъ друга братьями. Братались. Часто слышны были такіе разговоры:

– А ты, братъ, хто? Вижу, всѣ тутъ полусвободные, простые люди. Я овцепасъ.

– Владычицы горшечникъ бывшій. Косой – имя мнѣ.

– А я, братъ, пахарь. Рябымъ звать меня.

– Мы – поставщики льна.

– А мы рабы царскіе. Убѣгли.

– Псарь.

– Строители кораблей! – крикнуло нѣсколько сидѣвшихъ поодаль.

– Рыбакъ я. Кривымъ прозванъ.

– А я, братъ, ремесленникъ. Прозвищемъ Рудый.

– Такъ ты жъ работаешь на народъ. Всегда въ теплѣ, державой пригрѣтъ! – съ ухмылкою и злобнымъ прищуромъ сказалъ нѣкій среднихъ лѣтъ.

– Не пригрѣтъ, а отпѣтъ, – отвѣтилъ ремесленникъ, потрагивая голову.

– Эхъ, ништо, братко. Нонче всё помѣняется.

– У Канути[8] руки загребущія: всякъ бойся его!

– Такъ-то оно такъ. Да мы ему руки-то пообломаемъ. Ладъ будетъ.

– Нагрянемъ бурею! Верши нами, какъ тебѣ угодно! Кончилось то время, когда жрицы нами вершили.

– Заревое, братъ, сказываешь, заревое! И буди тако!

Тѣмъ временемъ, какъ то часто бываетъ среди подобнаго люда, братанія во мгновеніе ока порою преходятъ въ свою противуположность: кто-то изъ собравшихся зачалъ ссору, вотъ-вотъ готова была разразиться драка, чреватая, быть можетъ, и смертями; слышалось: «Напьется, такъ съ царями дерется, а проспится, такъ и курицы боится!». – «А самъ-то, не трусъ ли: давеча едва ль тѣлеса унесъ…». – «Что? Ты что сказалъ, индюкъ?»; «А, была-не была! Лей масла въ огонь!». Акай грозно крикнулъ:

– Не лайтесь!

Настала тишина, и возставшіе начали расходиться кто куда. Нѣкій молодецъ, не по-критски здоровый, съ прищуромъ, подошелъ тѣмъ временемъ къ Акаю и спросилъ его:

– Кабы лиса не подоспѣла, то бы овца волка съѣла! И за что къ тебѣ людъ нашенскій стекается? За что полюбили? Полъ-деревни нашей убѣгло къ тебѣ, къ черной лискѣ-то.

– За сердце смѣлое, руку крѣпкую и главу холодную, – отвѣчалъ Акай-черная лиска, не глядя на него.

– Кто въ чинъ вошелъ лисой, то въ чинѣ будетъ волкомъ. А волкъ ловитъ, да ловятъ и волка. Недалече Смерть ходитъ.

Молчалъ Акай, глядя въ никуда.

Гордо возставшая надъ землею и высоко вздымавшаяся гора Ида пронзала небо, сизо-лиловая, звѣзда: въ лазури. Усталыя тучи находили на ней пристанище свое, въ то время какъ солнце забавлялось съ деревами, играясь; наигравшись, рубиномъ окрашивало косогоры Иды. Рдѣло небо, кровавясь. – Будутъ крови многіе: на землѣ. И Солнце было – какъ ножъ. Но множилась вопреки оку сему незримая очамъ человѣческимъ тѣнь, ложащаяся на горы, холмы, поля, пажити, всё болѣе ширящаяся: накрывающая собою вѣчно-солнечный Критъ. И была тѣнь та – какъ бездна зіяющая.

Лабрисъ, Обоюдоострый топоръ, родилъ ропотъ. Рокотомъ вскорѣ пройдетъ по Криту тотъ ропотъ.

Глава 4. Имато и Касато: разговоръ царя и первѣйшаго изъ слугъ его

Въ вечносолнечномъ Кноссѣ (или точнѣе: въ Канути, какъ называли его мѣстные), столицѣ минойскаго Крита, еще не вѣдавшемъ законовъ, окружаемый тремя ширящимися кверху изсиня-черными колоннами, созданными не безъ вліянія Египта, съ которымъ минойскую державу всегда связывали дружескія отношенія, поддерживающими невысокій потолокъ въ темно-алыхъ тоновъ залѣ, находящейся по центру чертога, далеко разстилающагося въ длину и въ ширь, но не въ высоту, но, однако, возвышающагося надъ пространствами окрестными, будучи первымъ на свѣтѣ многоэтажнымъ дворцомъ, лѣниво поглядывая на морскихъ животныхъ и растеній (многія изъ которыхъ почитались священными), съ большимъ мастерствомъ изображенныхъ мѣстнымъ изряднохудожникомъ на стѣнахъ и казалось бы застывшихъ, но на дѣлѣ вносившихъ нѣчто динамическое въ полумертвый бытъ Дворца, возсѣдалъ на кипарисовомъ престолѣ, отдѣланномъ златомъ и костью слоновой, окрашенной въ пурпуръ, Имато, Багрянородный, Благобыкій, царь царствующій, богъ живой, выше котораго изъ живыхъ не было никого, кромѣ, быть можетъ, его супруги, коей онъ по критскимъ обычаямъ подчинялся во

[8] У Кносса, столицы минойскаго Крита.

многомъ, но не во всёмъ. Таковъ былъ тронный залъ, бросившійся бы въ сердце любому (кносскій дворецъ – олицетвореніе изящества и утонченности, твореніе предшественника Дедала), но не пресыщеннѣйшему изъ людей – царю Имато. Неспѣшно и со скукою обводилъ царь очами многократы видѣнные свои покои, прикасаяся десницею то къ ланитамъ и выѣ, въ тысячный разъ за день удостовѣряясь, что онъ выбритъ гладко, что щетина (и тѣмъ паче борода, свойственная черни) не оскорбляетъ царское его достоинство, то къ обильнымъ своимъ синякамъ и разсѣченной губѣ – се слѣдствія игрищъ плотскихъ, имъ нѣкогда любимыхъ, но наскучившихъ ему (однако, сказать, чтобъ онъ могъ хотя бъ день-другой обойтись безъ нихъ и нынѣ – никакъ нельзя), – и принималъ ближайшихъ своихъ подчиненныхъ, людей знатнѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ.

Одинъ изъ нихъ, вечноженственный, съ осиною таліей и въ набедренной повязкѣ (какъ молвилъ бы очевидецъ изъ эпохъ много болѣе позднихъ, случись ему узрѣть сіе), съ кудрявыми черными власами – его можно было принять за дѣву, если бы не загорѣлая кожа – вѣрный знакъ мужа (изъ мужей лишь царь могъ позволить себѣ быть блѣднымъ, какъ дѣвы), – находясь предъ вседержителемъ лицомъ къ лицу (вѣрнѣе, лице предъ лице), съ вечнотрясущимися предъ Имато, лишь предъ Имато руками, голосомъ – въ такихъ случаяхъ – дрожащимъ и высокимъ, окрестъ себя оглядѣвшись, подсознательно опасаяся, не подслушаетъ ли кто ихъ имѣющую быть бесѣду, изрекъ:

– О Вседержавный, великолѣпіе Твое превышаетъ…

Имато, морщась, перебилъ его словами:

– Ты пришелъ во время неназначенное, такъ молви, о степенный Нашъ слуга: что случилося въ земляхъ критскихъ, солнцемъ обильныхъ, въ земляхъ добрыхъ?

Касато (такъ былъ нареченъ своею матерью первѣйшій изъ слугъ повелителя), приходя въ волненіе еще большее, запинаясь, началъ:

– О Вседержитель, есть къ Тебѣ слово, ибо есть вѣсти…

Царь съ воодушевленіемъ большимъ приказалъ тому продолжать словами «Говори же, говори!».

– Осмѣлюсь доложить: вѣсти дурныя, – отвѣтствовалъ, заикаясь, вѣрный слуга царя (всѣ ближайшіе слуги царскіе были слугами вѣрными: такъ было принято считать въ тѣ времена въ мѣстахъ сихъ).

Имато начиналъ уставать отъ свойственнаго придворному этосу напускного раболѣпія и изрекъ:

– Коли не скажешь – дурны будутъ не вѣсти, тобою еще не разсказанныя, а дѣла твои.

Слуга, сбросивъ половину придворнаго этикета (нѣчто невиданное!), голосомъ болѣе бодрымъ и на сей разъ по-здоровому взволнованнымъ, приблизившись къ царю почти вплотную, произнесъ, быстро выговаривая слова и не менѣе быстро вращая очами:

– Повинуюсь, но то черная вѣсть. Царь, не осуди и казнить не вели! Не вели! Но чернь недовольна своимъ бытіемъ. Предчувствую: недоброе не стучитъ – ломится въ двери.

Имато перебилъ не безъ раздраженія:

– Чернь всегда недовольна, на то она и чернь; какія жъ это вѣсти, что жъ здѣсь новаго, Касато? Чернь и сама не вѣдаетъ чего желаетъ во всеалчныхъ своихъ желаньяхъ. Но таковъ міръ: есть Господинъ и есть рабы, изъ коихъ наипервѣйшій – ты.

– Таковъ порядокъ міра, Владыко! Святой и подлинный, отъ вѣка существующій! Конечно, она «всегда недовольна, на то она и чернь», – голосомъ вкрадчивымъ отвѣтствовалъ Касато, изливая на царя потоки критской сладости, ибо опасался онъ, какъ любой здравомыслящій на Востокѣ, пасть въ немилость. – Ты, Высочайшій изъ царей, сіе очень мудро отмѣтилъ, и всегда она горазда измышлять всякія небылицы, всѣмъ вредныя, ибо состоитъ она изъ нечестивцевъ презрѣннѣйшихъ, вседерзкихъ порою и всегда всеподлыхъ, изъ червей, копошащихся въ земляхъ критскихъ, отъ вѣка и до вѣка святыхъ и добрыхъ, наилучшихъ во всѣхъ Вселенной,

но всё жъ позволь мнѣ, вѣрнѣйшему изъ слугъ Твоихъ, по великой твоей милости добавить къ сему: отмѣчу, что нынѣ она недовольна въ мѣрѣ много большей: она – дотолѣ незлобивая по волѣ Матери – ропщетъ; и ропщетъ впервые… Обезумѣлъ людъ! Осмѣлюсь доложить: рѣчь идетъ о бѣдѣ! По инымъ землямъ появилися сборища опасныя: для общаго порядка, для думъ народа. Смутьяны! Измышляетъ чернь нѣчто, намъ противное, противное многославному Твоему достоинству, противу трона самого: противу всемилой и вселюбимой Отчизны желаетъ она злодѣять! Никто не помнитъ такого, чтобъ чернь свободная такого желала; рабы – бывало, но чернь! Гласъ мятежа слышу, смиреніе и покаяніе – испарились: были и нѣтъ ихъ. И при всёмъ преклоненіи предъ Тобою, о Властитель, при всей Любви пребезмерной – къ Тебѣ и къ родимому Криту стоградному, къ доброй нашей землѣ, при всёмъ уваженіи – безпримѣрномъ, я – преклоняюсь предъ Тобою вновь и вновь, отъ вѣка и до вѣка, но изреку должное быть изреченнымъ не ранѣе и не позднѣе, но именно нынѣ, ибо се долгъ мой – предъ Тобою и предъ отчизною – и се глаголю: настало время дѣйствовать, ибо заступила бѣда, горькая. Бѣда! Мати, Мати, время тяжкое отъ насъ отжени!

Отвѣсивъ поклоны, мѣрно-хаотическіе, Касато, переведя духъ (о, если бы онъ у него былъ!), продолжалъ болѣе спокойно:

– Чернь становится словно монолитною, чернь зубъ точитъ, се вѣсти наистрашнѣйшія, гроза посередь яснаго неба критскаго, она дѣйствуетъ по чьему-то наитію…О немъ, о ее сплотившемъ, о возмутителѣ народномъ, что словами бунтуетъ людъ, ходятъ слухи, но мало кто его видалъ… Нѣкій пришлый, возмутитель спокойствія, родоначальникъ нечестія, – народъ мутитъ; откуда родомъ – покамѣстъ неизвѣстно; извѣстно только, что не критскій. Виновника сего – негодяя злотворнѣйшаго – сыщемъ, сыщемъ – вѣрь мнѣ, вѣрь, о Наивысшій изъ высокихъ. О! Сыщемъ: главою клянуся! И да настигнетъ его месть всѣхъ, всѣхъ богинь нашихъ и нашихъ боговъ; да настигнетъ его и моя месть, нижайшаго изъ рабовъ Твоихъ, месть, разящая, яко копья воевъ нашихъ, лучшихъ во всей Вселенной, не вѣдающихъ роздыха во браняхъ, острая, яко серпы да косы землепашцевъ нашихъ, лучшихъ во всей Вселенной, горячая да раскаленная, яко мѣдь, пылающая подъ орудіями многомощныхъ нашихъ кузнецовъ, лучшихъ во всей Вселенной. – Месть моя да будетъ стрѣлою, всеразящей и страшной, яко и боль моя, рожденная злодѣяньемъ Нечестивца, злодыхательнаго, злотворнаго: злодѣяньемъ, чернымъ, яко Нощь.

Вновь переведя если не духъ, то дыханье свое, продолжалъ царедворецъ:

– Заступаетъ время горькое, злотворное. Множится дѣйство окаянное. Зло учинилось на землѣ критской. Отъ того, какъ мы отвѣтствуемъ на надвигающіяся изъ грядущаго бури, зависятъ судьбы не только Твои, о Державный, не только народа Твоего, но и потомковъ – Твоихъ и народа. Настало время отвѣтствовать Нечестивцу дѣяньями: кровью. Всепокорно ввѣряю реченное Твоей милости.

Склонившись долу согласно придворному этикету, Касато, улыбаясь, возопилъ:

– Славься до скончанія временъ, Величайшій изъ великихъ. И живи во вѣки вѣковъ, покамѣстъ и самое Время не истлѣетъ.

Царь началъ чаще обычнаго тереть руками свои синяки и поглаживать свои ланиты и выю; вмѣстѣ съ тѣмъ выпрямилъ онъ сутулую свою спину, и очи его стали грозными (а не лишь спокойно-надменными, какъ обычно); властнымъ жестомъ десницы приказалъ онъ исчезнуть слугѣ своему, и тотъ, разсыпаясь въ поклонахъ, спѣшно удалился изъ царскихъ покоевъ, предъ тѣмъ воскликнувъ подобающее къ сему случаю «Служу Имато. А въ Имато – служу Криту!».

Потъ лился – несмотря на прохладу, даруемую Дворцу матеріаломъ, изъ коего былъ онъ скроенъ: камнемъ, – съ Касато. Чуялъ онъ, что сдѣлалъ онъ дѣло, и улыбка, по-восточному лукавая, жадная, алчная исковеркала восточное его обличье. Дѣло шло къ Ночи, и воцарялася тьма на безмятежномъ критскомъ небѣ. Съ болѣе легкой душой и совѣстью болѣе чистой улегся Касато спать во Дворцѣ, отправивъ по домамъ слугъ своихъ ранѣе срока и никого изъ

нихъ не оставивъ на ночь. И снилися ему сны, въ коихъ онъ и самъ былъ то пріемлющимъ дары и одобренья, награды и почести отъ вседержителя, то былъ онъ – тише, тише! – и самимъ царемъ: царемъ царствующимъ и повелѣвающимъ, съ Лабрисомъ въ руцехъ. Сладко потягивался Касато, объятый сладкими своими снами, переполненными мечтами и алчбами невозможными; быть можетъ, нѣчто подобное Касато выговаривалъ и вслухъ – спать не переставая.

И былъ онъ разбуженъ посреди ночи черной, и страхъ пронзилъ сердце его, и очи его словно превратилися въ шары, и снова потекли поты по кожѣ его, загорѣлой и жирной, а десница потянулася за короткимъ мечомъ, запасеннымъ для возможныхъ злоумышленій противу него, Касато, вѣрнѣйшаго изъ вѣрныхъ слугъ.

– Что случилось? Кто смѣетъ будить Насъ посреди Ночи? – властно и грозно и – единовременно – съ таимымъ ужасомъ вопрошалъ онъ вошедшаго. И блеснулъ лучомъ луннымъ мечъ его, прорѣзавшій его рукою тьму сгустившуюся.

И былъ отвѣтъ въ ночи, и не было свѣтовъ, и сребрился гласъ во тьмѣ: «Гряди къ царю царствующихъ: славный нашъ Отецъ говорить съ тобой желаетъ и проситъ немедля къ нему пожаловать». Касато вскочилъ съ ложа и едва ль не бѣгомъ отправился къ царю (бѣгъ его зачинался ужасомъ, объявшимъ и сердце его, и умъ, и тѣло), стукаясь о дверные косяки и выступы, ибо всё было въ темяхъ и тѣняхъ, спотыкаясь въ дебряхъ, во чревѣ Дворца-Лабиринта; рога посвященія и букраніи – пугали: вездѣ бычій духъ, словно гдѣ-то – въ темяхъ и тѣняхъ – затаился быкъ, ждущій, наблюдающій, готовый напасть на жертву въ мигъ любой. Ширился коридоръ, обступалъ, нависалъ на царедворца, страша его. Не безъ труда добрался онъ до покоевъ царскихъ, до сердца чудища-Дворца, – не грѣхъ и высокорожденному придворному заблудиться въ Лабиринтѣ, въ «Святилище двойного топора» или же въ «Домѣ двойной сѣкиры» – Лабриса, въ величайшемъ и обширнѣйшемъ изъ чертоговъ, ибо залъ былъ столь много, что чѣмъ если не путаницею воплощенною и Лабиринтомъ были онѣ? – и, лишь приблизившись къ залѣ Высочайшаго, остановился, и перевелъ дыханье свое. Дверь отворилась. Касато тѣнью незримой, неслышимый, медленно вошелъ въ царскіе покои, дѣлая поклоны, какъ то подобаетъ. И услышалъ онъ гласъ царскій съ повелѣніемъ приблизиться. И приблизился онъ со страхомъ велимъ, отирая поты тканью. Имато молчалъ съ четверть часа, глядя на звѣзды, струящія свѣты свои чрезъ окна залы. Наконецъ молвилъ:

– Касато, ближайшій изъ Нашихъ приближенныхъ, благодаримъ тебя за вѣсти твои; благодаримъ, что не убоялся Намъ о семъ молвить (остальные изъ страха умолчали) – нынѣ, а не во время самого возстанья, коего, быть можетъ, не миновать.

Касато просіялъ, и снова грузы, словно подвѣшенные къ сердцу его, съ него непостижимымъ и незримымъ образомъ низверглись долу: сіялъ онъ и излучалъ свѣты, не столь, впрочемъ, яркіе, дабы ихъ узрѣть въ ночи.

Царь продолжалъ:

– Есть причины мнить, милый Нашъ (ибо было Мнѣ видѣніе давеча), что кровей многихъ мы не узримъ, хотя возстанью, какъ изглаголали Мы мигомъ ранѣе, быти. – Будетъ лишь одна смерть: смерть нѣкоего дерзновеннаго, слишкомъ дерзновеннаго (во снѣ зрѣли Мы обличье его, зрѣли его живымъ!), слишкомъ ужъ опьянившагося – единовременно – и силою своей, и своими же видѣніями; но видѣнія – и Наше, и его – не бываютъ своими: ихъ виновники – боги. Во снѣ зрѣли Мы его покушающимся на святый Нашъ престолъ, зрѣли его вседерзкимъ, опившимся виномъ дикимъ, претворяющимъ человѣка во звѣря. Ясно одно: угодно богамъ забавлять и развлекать Насъ, божественное Наше достоинство, ибо онъ развлекаетъ Насъ, и тѣмъ для Насъ хорошъ; онъ не помѣхи намъ чинитъ, а щекочетъ сладко. Се подарокъ прекрасный, прекрасный, ибо развѣваетъ онъ скуку, извѣчную Нашу спутницу, издавна полонившую душу. Что жъ…скучно Намъ и впрямь быти престало. Осталося одно – не оплошать, а сіе – уже не Наши, но твои заботы: Критъ отъ вѣка благоухаетъ, и малая гниль – ему не помѣха: таковъ порядокъ міра. Азъ вѣдаю, чему быти, а чему нѣтъ: будь покоенъ.

Касато волею принудилъ себя не мѣнять выраженье лица, ибо ему подумалось: «Вѣдаетъ онъ Критъ, отецъ народа критскаго, какъ же…А вотъ я вѣдаю: пахнетъ Критъ дурно: Критъ – не дворецъ кносскій, а всё, всё за предѣлами его: отецъ чадъ критскихъ, а Крита не вѣдаетъ».

Царь сдѣлалъ недолгую паузу и, улыбаясь и соча изъ себя критскую доброту, произнесъ, медленно и елейно:

– Помнится, ты проигралъ Намъ дюжину партій въ кости: къ ряду; Насъ не могло сіе не радовать и не веселить сердце, полное заботъ о дитятахъ своихъ: ты соперникъ сильный, побѣждающій всѣхъ, опричь Насъ. Что жъ, что жъ: представляется, что именно тебѣ Мы и поручимъ вести дѣло сіе по великой Нашей милости: тебѣ, а не Кокалу, воеводѣ верховному, какъ то подобало бы содѣять; но онъ побивалъ Насъ въ кости, къ несчастью своему, а у прочихъ не всегда выигрывалъ; такожде не любимъ Мы того, что скроменъ онъ и сдержанъ излишне въ своихъ проявленьяхъ любви къ Намъ: рѣже тебя онъ кланяется и не столь низко кладетъ Намъ поклоны. Дюжину разъ проигрывалъ ты: въ кости; такъ побѣди: въ подавленіи возстанья, уже заченшагося въ лонѣ земли нашей и нынѣ расцвѣтающаго на ней. Ей, гряди и не оплошай, не оплошай. А возставшихъ, жизнь которыхъ державный Нашъ мечъ исторгнетъ вскорѣ, посвящаю Матери какъ даръ.

– О царь великій великой страны, сотни колесницъ, въ коней быстроногихъ запряженныхъ (и воевъ при нихъ), къ нашимъ услугамъ, ожидаютъ они славныхъ Твоихъ повелѣній, сребромъ, да златомъ одѣянныя, да костью слоновою.

– Сѣдлай Быстронаго воутріе, днемъ, да передай, что Мы по-прежнему любимъ его: больше народа своего. Да поцѣлуй отъ Насъ Ретиваго: онъ любимецъ Нашъ въ той же мѣрѣ, – отвѣтствовалъ Имато не безъ жара, глядя въ ночную черноту залы, – Ахъ, кони, кони, любовники вѣтровъ, велики вы въ своей силѣ, безсмертны и красны. Что люди – песокъ морской, но кони! – Существа божественныя, Намъ равныя. Да не коснется рука черни ни единаго изъ нихъ; а ежель коснется – не миновать имъ смерти черной. Потому ты, верноподданѣйшій изъ доблестныхъ Нашихъ слугъ, достойнѣйшій изъ чадъ критскихъ, используй въ цѣляхъ устрашенья черни (а ежель потребно будетъ – и во браняхъ) братьевъ критскихъ: ужель пѣхоты не хватитъ для сего? А коней славныхъ побережемъ, побережемъ: ужъ больно любы Намъ. Царь на конѣ, а людъ – пешъ. Царь на конѣ, а людъ – подъ конемъ.

Помолчавъ и снова поглаживая синяки свои, Имато продолжилъ свою рѣчь:

– Касато, вотъ тебѣ слово Наше: побѣдишь – и пожалуемъ тебѣ отъ щедротъ своихъ многихъ, Быстроскачущаго, лучшаго изъ коней во всей Вселенной, съ превеликимъ избыткомъ силъ, одного изъ Нашихъ любимцевъ, да въ придачу къ нему треножникъ царскій, созданный самой Матерью, цѣною едва ль не въ сто быковъ, пышущихъ здоровьемъ, въ расцвѣтѣ силъ своихъ.

– Слушаюсь, о Всеверховный! Приказъ Твой – сердцу услада. Скрывать не стану: мысли объ обладаніи Быстроскачущимъ – самыя горячія, медовыя, огненно-струящіяся! Едва ль что дороже найдется въ созданныхъ Матерью земляхъ. Конь сей – словно вѣтеръ! Ибо я потерялъ три дни назадъ Иноходца: смерть претерпѣлъ онъ отъ старости.

– Это большая потеря, милый Нашъ Касато, – съ печалію вымолвилъ царь, – бѣда пребольшая. Быстроскачущій, созданье вечномолодое, сослужитъ тебѣ службу велику. Но помни: его донынѣ не оскверняла нога человѣка: ни единаго раза осѣдланъ онъ не былъ. Одаримъ тебя существомъ всечистымъ, и ты по милости Нашей первымъ его познаешь. Какъ ты вѣдаешь, у насъ во Критской во державѣ – не въ примѣръ землямъ прочимъ – и кони пьютъ вино (поѣдая овесъ, смоченный виномъ); отчего и намъ не выпить? Ей, гряди вонъ: Мы устали отъ рѣчей и мыслей тяжкихъ, ибо рѣчи и мысли всегда тяжки для Насъ, ибо мысли и думы суть спутники бѣдности и нищеты.

– О Имато, наиевличайшій изъ бывшихъ и изъ грядущихъ царей Крита, я не могу (и ежель могъ бы – не смѣлъ) столь же зорко и глубоко зрѣть грядущее, какъ ты зришь съ непо-

колебимыхъ высотъ величія Твоего. Потому я, скромный Твой слуга, приму совѣты Твои, не смѣя обдумывать ихъ.

– Ей, гряди ко сну, а предъ тѣмъ пей и весели сердце высокое, поступай во всёмъ по велѣнію высокой души.

– Повинуюсь. Иду, иду, – склонившись до каменнаго пола отвѣтилъ Касато.

Когда Касато съ подобающими поклонами вышелъ съ возгласомъ «Служу Криту», Имато, задумавшись глубоко, произнесъ вслухъ: «Критъ – конь Мой; и Азъ сѣдлаю коня…».

Касато же про себя думалъ: «Дѣйствовать, конечно, будемъ иначе. Сперва: хлѣба и зрѣлищъ. Затѣмъ: крови главаря. И всё сіе дѣять и въ самомъ дѣлѣ – подъ бдительными очами братьевъ критскихъ. Въ концѣ концовъ: господамъ слѣдуетъ заботиться о рабахъ своихъ». И началъ попѣвать народну пѣсню «Въ кносской во рубахѣ по полю я шелъ», всѣми извѣстную въ то время въ минойской державѣ.

Можно задаться вопросомъ: какъ могъ, будучи въ трезвомъ умѣ и твердой памяти, Имато назначать на толь отвѣтственную для ихъ отчизны должность человѣка несвѣдущаго, человѣка неглубокаго, человѣка пресмыкающагося, но въ первую очередь – человѣка столь *безшумнаго*? Какъ могъ Имато довѣрить Касато военное дѣло въ толикій часъ: человѣку, который любому трезвомыслящему показался бы самимъ ничто, переполненнымъ раболѣпія? Отвѣтъ простъ: такова царева воля; но насъ подобный отвѣтъ едва ли удовлетворитъ, и мы посему добавимъ: Имато былъ рабъ удовольствій своихъ и настроеній собственныхъ: Имато не въ примѣръ правившему много послѣ Радаманту – не вѣдалъ чего-либо застывшаго надъ нимъ, будь то: законъ, который долженъ исполняться любымъ, а вѣдалъ только удовольствія и неудовольствія: свои, лишь свои: свои настроенія и прихоти тѣла возводилъ онъ въ законъ. Поверхъ сказаннаго: Имато попросту довѣрялъ Касато: какъ себѣ; точнѣе: болѣе, чѣмъ себѣ. Ибо съ одной стороны, Критъ не зналъ еще случаевъ типичной для Востока *ненадежности* правыхъ и лѣвыхъ рукъ государя (ибо главною мудростью любого восточнаго правителя было: никому не довѣрять). Съ другой стороны, Имато былъ слишкомъ лѣнивъ для дѣлъ управленія (управленіе вѣдь не царствованіе!), что полагались имъ ниже собственнаго достоинства. Потому и довѣрялъ царь Касато, лучшему изъ слугъ своихъ, по его словамъ.

И были предовольны оба, и праздновали – каждый въ своей залѣ, каждый со своей женою и каждый со своимъ виномъ: у Имато зала превеликая, у Касато – великая; у Имато наложницы наилучшія, у Касато – просто лучшія; Имато піетъ вина престарыя, Касато – просто старыя, – словомъ, бытовали чинъ чиномъ, по законамъ неписаннымъ, скорѣе вѣчнымъ, чѣмъ дѣдовскимъ, и честь свою знали. Что Имато, что Касато преходили: въ радованіе и веселіе; а послѣ и сами претворились: и въ радованіе, и въ веселіе; и улыбка не сходила съ устъ ихъ, и лишь утомившись отъ нея, смогли они заснуть: каждый въ своей залѣ, но въ одно время. И были таковы. – Такъ проходятъ высочайшіе дни: будни высочайшихъ людей.

* * *

Не чудище ли Кноссъ, не сердце ли тьмы; не Лабиринтъ ли Дворецъ и не минотавръ ли Имато?

Глава 5. Акай, или начало страды

Гецъ. <…> Признай, господь на моей сторонѣ.

Насти. На твоей? Нѣтъ. Ты не человѣкъ, избранный богомъ. Ты въ лучшемъ случаѣ трутень Господень.

Гецъ. Откуда тебѣ знать?

Насти. Люди, избранные Господомъ, разрушаютъ или строятъ, ты лишь сохраняешь всё какъ было.

Гецъ. Сохраняю?

Насти. Ты сѣешь безпорядокъ, а безпорядокъ – лучшій слуга установленнаго порядка.

Сартръ

Тѣмъ временемъ ряды возставшихъ множились – и много быстрѣе, чѣмъ разумѣла власть: Акай – и рѣчами, и дѣлами – мудро собиралъ вокругъ себя всѣхъ угнетенныхъ, всѣхъ гольцовъ, всѣхъ отверженныхъ, зажигая мужествомъ ихъ сердца. Средь возставшихъ были также и нѣмые: несчастнѣйшимъ рѣзали языки по манію своихъ владѣтелей бывшихъ, содѣлавшихъ это для увеселенія жестокихъ своихъ сердецъ. Послѣ захвата одного изъ окраинныхъ дворцовъ, говоря иначе: послѣ первой побѣды, – когда число ихъ стало внушительнымъ, Акай собралъ совѣтъ, воздавшій ему знаки почтенія, и началъ рѣчь на уступахъ горъ:

– Соратники, начинанія наши святы и богамъ не противны; не противу боговъ они и воли ихъ, но противу жрицъ и тѣхъ слабосильныхъ и растучнѣвшихъ, что съ ними заодно. Довольно хлебнули мы горя, да сидѣли на цѣпи, какъ псы, подъяремно бытуючи, да жалобились! А они тѣмъ временемъ въ три горла вина пили да жрали! Думно мнѣ: богамъ таковое униженье дитятъ своихъ угодно быть не можетъ; чуется мною да зрится мнѣ такожде: и боги, и богини съ поръ иныхъ не на ихъ сторонѣ, а на нашей. Ибо они, боги всеблагіе, заповѣдали намъ жити инако: какъ отцы, какъ дѣды, какъ ихъ дѣды. Въ достаткѣ мы жили: всякъ помнитъ сіе. Блаженъ былъ удѣлъ ихъ. Глядите же, что нынче дѣется: народъ – въ нищетѣ; народъ – во скорбяхъ многихъ; народъ – стонетъ и не въ силахъ поднять главу. Доколѣ? Доколѣ мы будемъ терпѣть? Ей, истинно глаголю: пора, пора зачинать, не время болѣ терпѣть – будетъ лишь хуже. Ей, встрепенись, народъ, подыми выю изъ полона; съ подъятою къ небесамъ главою гряди по землѣ родной; а предъ тѣмъ – сбрось иго угнетателей, разбей оковы да брось оземь ярмо!

Рукоплесканія обильныя были слышны и звуки одобренія, ободрительно гудѣла земля.

– Почто одни всѣмъ владѣютъ, а иные, работящіе до смерти, ничего не имѣютъ? Почто терпимъ мы жрицъ и жрецовъ растучнѣвшихъ, истекающихъ тукомъ? Помните: они не выше насъ – ни въ чёмъ. Они, какъ и мы, любятъ хлѣбъ, вино, дышатъ однимъ съ нами воздухомъ, піютъ воду съ жадностью. Почто одни купаются то въ прохладѣ, а когда наскучитъ имъ сіе, нежатъ тѣла свои на солнцемъ: а не гнутъ три спины подъ нимъ вседневно и не испепеляютъ – солнцемъ – плоть свою въ работахъ многихъ? Они, какъ и мы смертны, и имъ, какъ и намъ, не дано вкусить безсмертія. И плоть ихъ бренна и издаетъ смрадъ, случись имъ смежить очи. О, мы принудимъ смежить ихъ очи: навѣкъ! Навѣкъ!

– Навѣкъ! – вторьемъ въ пространствахъ окрестныхъ отдавался возгласъ толпы.

– Слѣдуй за мной: тотъ, кто не въ силахъ болѣ чувствовать на выѣ цѣпи раба – зримыя и не зримыя; кто готовъ сложить главу свою въ сѣчѣ великой; кто готовъ достойнѣйшей смертью – на полѣ брани – оплатить убогое свое бытіе, влачимое доселѣ.

Стоитъ отмѣтить: не всѣмъ были близки огненныя слова Акая: ежели недавно-попавшіе въ рабство и нужду горячо привѣтствовали пламенныя его слова, то рабствовавшіе съ рожденія, привыкшіе къ обездоленности, свыкшіеся съ нимъ, стояли молча, не выражая покамѣстъ ни согласія, ни несогласія.

– Клянуся богами и богинями Крита, что говорилъ отъ сердца, не лукавя, безхитростно, какъ думно мнѣ. И да настигнетъ ихъ моя злоба, черная, якъ Нощь, и мгновенноразящая, якъ молнія небесная. Клянуся! И боги да сопутствуютъ дѣлу нашему! Искрушимъ темницы, гнетъ мы свергнемъ, ярмо въ прахъ мы разобьемъ, и троны навѣкъ падутъ! Клянуся! – металъ молніи Акай.

Многоголосое и гулкое «Слава Акаю!», разрѣзая аэръ тьмою выкриковъ, громогласно и зычно раздалось – вслѣдъ за молніей словъ Акаевыхъ – и было слышно въ еще долго гудѣвшихъ земляхъ.

– «Свобода» – кричатъ наши уста, ибо Свобода, богиня нонче неизвѣстная, въ душѣ воцарилася, она правитъ бытіемъ моимъ, она – суть моя! – всё болѣе и болѣе разгорался Акай. – Но свобода моя должна еще стать свободою всѣхъ; я болѣе не въ силахъ быть свободенъ одинъ, въ одиночку, словно тайкомъ. Со Свободою ринемся мы въ бой противу господъ, отобравшихъ Её у насъ. И да окрылятъ насъ и прочіе боги и богини. И да погибнемъ – но съ именемъ Твоимъ – на устахъ. О сыны Крита, перекуемъ на мечи: орала, серпы, плуги, косы! Якъ камень, въ море брошенный, круги рождаетъ, такъ и дѣло наше по Криту по всему вторьемъ отдаваться будетъ! Разгорятся пожарища…О, зрится мнѣ: они уже горятъ. О, какъ горятъ они! О, зрится мнѣ: блѣднѣетъ вѣнценосная медноголовость да трусость, упадываетъ. О, Критъ, ты возрыдалъ! Пожарища – слезы твои.

Послѣ Акай, помолчавъ и скользя по собравшимся взглядомъ грознымъ, что претворились въ шумъ и гамъ: рукоплесканьемъ и криками неистовыми, – добавилъ:

– Соратники, мы должны еще не менѣе недѣли, лучше двухъ, обучаться военному ремеслу, тонкостямъ владѣнья мечомъ, дѣлу ратному, ибо къ ратоборству мы несвычны, хотя бы и были критскіе братья и развращены, и слабы, и трусливы, ибо пребываютъ въ порокахъ многихъ. Мечей, однако, на всѣхъ насъ не хватитъ; лишь наиболѣе сильные получатъ ихъ; остальные будутъ сражаться вилами, серпами, косами и ножами; есть въ нашемъ общемъ войскѣ и та его часть, что обучена въ метаніи стрѣлъ и камней и продолжаетъ совершенствовать свои навыки.

– Да, братья, – когда гудѣніе стало мало-по-малу стихать, чуть помолчавъ, продолжилъ онъ, – на сторонѣ нашей – Правда, смѣлость и внезапность. Но всё распадется, ежель не будемъ мы монолитны, аки стѣна или камень.

Намъ стоитъ отмѣтить, что критяне не возводили – за ненадобностью – и потому многіе изъ простыхъ не вѣдали, что есть стѣна. Акай объяснилъ всѣмъ, но нельзя было сказать, поняли ли возставшіе его объясненіе или нѣтъ. Народъ частію былъ рѣшителенъ, будучи опьяненнымъ местью распалявшейся и побѣдами воображаемыми, частію же перешептывался; кто-то призывалъ себѣ въ помощь критскихъ богинь. Видя робость иныхъ, томившую ихъ сердца, Акай вновь воодушевлялъ ихъ:

– И да покровительствуетъ намъ Мать, родительница всего сущаго. Осѣненные Ея благословеніемъ, да побѣдимъ въ дѣлѣ нашемъ, преблагомъ и святомъ, судьбу коего мы ввѣряемъ Ей.

Къ Акаю подошелъ помощникъ его, одинъ изъ его недавно назначенныхъ военачальниковъ и сказалъ:

– Есть свѣдѣнія о томъ, что на дняхъ братья критскіе будутъ совершать омовенія въ морѣ; стало быть, болѣе часа-двухъ складъ съ оружіемъ будетъ охраняться лишь двумя-тремя воинами, и мы безъ труда и безъ жертвъ смогли бы захватить мечей и латъ, если не вдоволь, то по меньшей мѣрѣ смогли бы вооружить каждаго второго изъ уже возставшихъ. Остальные, какъ ты и приказывалъ, уже вооружены длинными луками.

– Хорошія вѣсти! Такъ и сдѣлаемъ. Ихъ безпечность – залогъ нашей побѣды. Похоже, что сама Судьба благоволитъ успѣху дѣла, – потирая жилистыя, спаленныя Солнцемъ руки отвѣтствовалъ Акай. Видно было по облику Акая, что гордился онъ не собою въ сей часъ и не своимъ положеньемъ средь возставшихъ, но рѣчью, имъ произнесенною: дѣломъ правымъ горѣлъ Акай.

* * *

Прошло нѣсколько недѣль. Вѣсь Критъ былъ теперь добычею ужаса – былъ онъ добычею возставшихъ. Громили дворцы, сѣя страхъ великій по землямъ окрестнымъ и землямъ дальнимъ, дѣя огненное свое прещеніе, и брали всё подрядъ. И пылали дворцы по всему Криту – какъ факелы въ ночи. Акай, полнясь гнѣвомъ, почитая его за гнѣвъ праведный, часто послѣ захвата очередного дворца (какъ правило, онъ нападалъ на дворцы ночью, разя спящихъ стражей дворца, а предъ тѣмъ какъ напасть – двигался съ предосторожностями немалыми) исторгалъ души не всѣмъ жрецамъ и жрицамъ, но лишь большей ихъ части; часть иную подвергалъ онъ униженьямъ: топталъ жреческое и дворцовое достоинство плѣненныхъ, единовременно полня этимъ счастье возставшихъ: проводилъ плѣнныхъ сквозь толпу свою, и та плевала въ проходившихъ, въ бывшихъ своихъ господъ, на челѣ коихъ то загорался багръ, то заступала бѣль, и побивала ихъ каменьями. – Позоръ несмываемый – однихъ – былъ усладою – другихъ. Вышеописанное являло себя ярче, случись кому изъ бывшихъ представителей господствующихъ, изъ бывшихъ «вящихъ людей» (какъ говаривали тогда на Критѣ и не только на Критѣ, а, съ позволенія сказать, вездѣ; и понынѣ, если и не поговариваютъ такъ, то сами вящіе люди остаются и остаются прежними, хотя бы и назывались они «слугами народа») – попытаться либо сопротивляться униженьямъ, либо же – ихъ избѣгнуть. Такого рода попытки вызывали смѣхъ всеобщій и радость. Однажды возставшіе, подходя къ никѣмъ не охраняемому дворцу, повидали жрицъ, скрывавшихся подъ сѣнью дворцоваго алтаря, выточеннаго изъ кипариса, священнаго древа, но храмомъ здѣсь былъ не дворецъ и не та или иная часть его, но природа целокупно; однако, по всей видимости, жрицы тѣ еще не слышали о возстаніи и успѣхѣ его, судя по рѣчамъ ихъ. Ибо одна изъ нихъ, старшая, говорила второй: «Смерть черная неизъяснимо владычествуетъ всюду, и гибнетъ всё живое. Ибо позабыли богинь да Матерь всеобщу. То Ея попущеніе на насъ. Всюду мужи, всюду. Но мужи глухи къ воззваньямъ богинь, глухи къ Землѣ; лишь внѣшне они благочестивы, но не сердцемъ. Что удивляться? Отъ того и недородъ, и гладъ, и моръ. Сохрани, Мати, царя и жену его; да бѣду и грозу отжени!». Вторая, младше, вторила ей: «Всё происходящее есть кара богинь, сомнѣній въ томъ быть не можетъ, – вездѣ начертанья Судьбы. Оскорбленныя глухотою да низостію мужей, онѣ ниспосылаютъ бѣды многи на священныя наши земли. Такъ что всюду и всегда царитъ справедливость – что бы ни говорила чернь несвѣдущая: и се зримъ её. Но и намъ долго еще предстоитъ, о жрица высочайшая, довольствоваться зерномъ, покамѣстъ Критъ стонетъ подъ бременемъ кары богинь: нѣтъ болѣ жертвъ тучныхъ, нѣтъ млека, нѣтъ мяса, нѣтъ плодовъ земныхъ». Къ сему-то дворцу и приближались возставшіе. Увидавши гордый станъ Акая, шедшаго впереди, младшая молвила: и молвила безъ страха въ голосѣ – съ вызовомъ – да такъ, что возставшіе могли её услыхать: «Гордость мужеская богинямъ и прочимъ высшимъ началамъ неугодна. Гордый всегда низвергается, и битъ онъ Судьбою, ибо противоволитъ высшему. Не то съ нами – облеченными въ силу божью». Старшая, главнѣйшая, вторила ей, и отсвѣтъ багряный сіялъ на лицѣ ея: «Гордость всегда нечестива! И хлещетъ Гордыня по ланитамъ: васъ же самихъ». Участь ихъ была незавидна: въ тотъ же мигъ были многократно заколоты; и вотъ уже бездыханныя тѣла были вновь и вновь пронзаемы жестокою мѣдью, купавшейся въ багряныхъ отсвѣтахъ критскаго заката; багряною стала тогда земля, а тѣла ихъ претворились въ мѣсиво. Въ иной разъ, позднѣе, одной изъ жрицъ въ упоминавшемся выше шествіи (когда вящихъ людей проводили сквозь ряды плѣнныхъ, и послѣдніе плевали и всячески унижали первыхъ) послѣ того какъ та упала, поскользнувшись, стала посылать громы и молніи въ сторону возставшихъ, а послѣ приговаривать: «Какое униженье! Мати, мати, спаси, и заступи, и помилуй! Лучше бы разразила меня тотчасъ молнія, лучше бы земля разверзлася!». Толпа, недолго думая, отвѣтствовала: «Земля если и разверзнется, то отъ нечестія тебѣ подобныхъ! А нонче предстоитъ

тебѣ провѣрить желанія земли-матери, вкушая землю по нашему по изволенію!». И приняла толпа насильно кормить землею критскою критскую жрицу – подъ радостные вопли и вои толпы; веселіе, однако, длилось недолго. Были и иные подобные случаи. – Акай научилъ толпу радоваться страданьямъ причинявшихъ страданье, какъ бы предваряя – за вѣка – библейское «кровь за кровь, зубъ за зубъ», извѣчное не только роду человѣческому, но и роду животныхъ. И было возставшимъ любо попирать достоинство тѣхъ, кто укралъ достоинство у народа критскаго. Было имъ думно: дѣлаютъ дѣло. Кто-то изъ толпы воскликнулъ:

– Отнынѣ, отнынѣ лишь Критъ воспрянетъ!

– Отнынѣ, отнынѣ величіе Крита – во прахѣ, сгибъ Критъ, пала родина наша, – скорбно и тихо, межъ собою говорили плѣненныя жрицы. – Позоръ небывалый! Если ранѣе мы осуществляли попеченье надъ малымъ стадомъ, то нынче стадо то надъ нами дѣетъ! Позоръ! Мы теперь не можемъ ни жить, ни умереть, ибо мы безоружны.

Одинъ изъ толпы, мужъ невысокаго роста, согбенный, услышалъ сказанное жрицами и, полнясь ненавистью, выражавшейся пристальнымъ, сощуреннымъ взглядомъ, извергающимъ презрѣніе, сказалъ:

– Ну-тка, дайте, говорю, имъ мечъ въ руки ихъ: поглядимъ, говорю, способны ль онѣ на убійство альбо на самоубійство.

Вручивъ имъ мечъ, глядѣли. Бывшія жрицы, хотя и взяли оружіе въ руки, не рѣшались ни на что; простоявъ не болѣе десятой доли часа, онѣ не сговариваясь бросили мечи къ ногамъ своимъ; иныя возрыдали.

Мужъ невысокаго роста, тотъ, что приказалъ дать имъ мечи, торжествуя, молвилъ:

– Ваша трусость не вѣдаетъ предѣловъ. Вы, коли исторгли бы себѣ души, можетъ, и были бы достойны нами править; но вы – люди души столь мелкой, что… – и слова его заглушили радостныя вопли толпы.

Были между жрицами и ихъ помощники: мужчины-рабы. – Благодушные помощники жрицъ, евнухи если не по плоти, то по духу, оскопленные съ рожденія воспитаніемъ и тѣлеснодушевной гигіеной. Ихъ толпа растерзала еще до того: во мгновеніе ока. И была такова.

* * *

Акай будилъ неразбуженныхъ: Критъ дотолѣ не вѣдалъ возстаній: рабы, въ рабствѣ и рабствомъ рожденные и вскормленные, и мнимосвободные, рабами – на дѣлѣ – ставшіе, – всѣ они были вскормлены покорностью, смиреніемъ, любовью къ царю, какимъ бы тотъ ни былъ. – Пробудить ихъ отъ сна было подъ силу развѣ что цѣлой дружинѣ многохрабрыхъ иноплеменныхъ воевъ, несмотря на благодатную почву для возстанія. Однако Акаю сдѣлать это удалось: число сторонниковъ возстанія множилось; оно становилось всё болѣе и болѣе велико, близясь къ числу звѣздъ въ ночи. – Критъ пришелъ въ движеніе.

Акай дѣйствовалъ въ самомъ дѣлѣ мудро: молніеносными, внѣшне безпорядочными, никѣмъ нежданными, какъ правило, ночными нападеніями онъ захватывалъ дворцы, не имѣвшіе, какъ извѣстно, ни гарнизона, ни крѣпостныхъ стѣнъ. Послѣ же ему – сами! – покорялися земли окрестныя, прилегавшія къ тому или иному дворцу. Часть мѣстныхъ жителей съ изряднымъ постоянствомъ втекала въ войско его, ширя и глубя его ряды. Также отмѣтимъ: часть критскихъ братьевъ также – чувствуя сила и женски къ льня къ ней – нерѣдко вливалася въ ряды возставшихъ, которые всё болѣе и болѣе походили на море, захлестывающее Критъ бурею, великой въ своей силѣ.

Какъ мы сказали, Акай дѣйствовалъ мудро. Сіе выражалось и въ томъ, что, громя наскокомъ дворцы и послѣ убивая жрицъ и чиновниковъ, онъ оставлялъ въ живыхъ и рабовъ, и – что много важнѣе – писцовъ, принуждая послѣднихъ отправлять гонцовъ въ Кноссъ съ глиняными табличками, подтвержденными дворцовыми печатями (у каждаго дворца была своя печать); въ

табличкахъ сообщалось, что: либо опасность миновала и дворецъ отразилъ атаку возставшихъ, либо возставшіе не появлялись и, по слухамъ, находятся вовсе въ иныхъ земляхъ Крита.

* * *

Иные изъ крестьянъ и ремесленниковъ, невеликіе числомъ, вовсе не были рады возстанію и противились отдавать возставшимъ плоды своихъ трудовъ. Такъ въ одной деревенькѣ послѣ того, какъ Акай побывалъ въ ней, еще не разъ поминали его лихомъ:

– Да будь онъ проклятъ, лиходѣй! Не братъ онъ намъ, а тать, говорю, и губитель.

– А хто?

– А Акай! Акай-нечестивецъ! Обобралъ насъ до нитки: хуже жрицъ.

– Да, послѣдствія смуты, говоритъ, еще страшнѣе. Саранчою идетъ по землямъ добрыхъ.

– Еще, говорю, губительнѣе, нежель поборы: поборы жрицъ всё жъ вѣдаютъ свои предѣлы, хотя предѣлы сіи выросли за годъ-два въ разковъ-то нѣсколько. А сей лиходѣй да нечестивецъ, богамъ противный, беретъ себѣ и своимъ – всё. Всё!

Лицо говорившихъ было цвѣта багра – отъ возліяній мѣстнымъ виномъ.

* * *

По прошествіи еще нѣсколькихъ недѣль положеніе власть имущихъ становилось въ полной мѣрѣ катастрофическимъ, ибо они не обладали какимъ-либо средствомъ усмирить толпу, захватившую къ тому времени немалую часть Крита (то были въ основномъ прибрежныя земли, гдѣ и покоились-дворцы): Имато не могъ – силою своего сребролюбія и лѣни – пойти на уступки египетскимъ другамъ, дабы тѣ оказали помощь въ борьбѣ съ возставшими; а войско, именуемое критскими братьями, въ самомъ дѣлѣ, было скорѣе собраніемъ мужей, не вѣдавшихъ о воинской доблести, – нежели воинствомъ. Критскихъ братьевъ учили чему угодно, но не военному дѣлу: шагу, достодолжнымъ взору и выправкѣ, походкѣ, смотрамъ, служенію, стойкѣ, наружности, даже внѣшности, того болѣе: иной разъ и утонченности. Они, какъ и ихъ начальники, не имѣли боевого опыта, не были закалены сраженіями, владѣли оружіемъ дурно, и если чѣмъ и устрашали супостата, то своимъ количествомъ, только количествомъ. Иные изъ нихъ – ежели рѣчь шла не о терзаніи завѣдомо болѣе слабаго, а о противостояніи равнымъ по силѣ и числу, – суевѣрно боялись самого вида крови – не чужой, вполнѣ алкаемой, но своей и своихъ.

Акай же, напротивъ, принуждалъ вседневно упражняться всѣхъ взявшихъ въ руки мечи, вилы, серпы, косы, луки. Училъ онъ ихъ тактикѣ и достодолжной дисциплинѣ. Мало-помалу рождалось военное мастерство возставшихъ, отсутствующее у численно превосходящихъ, но вынужденно разрозненныхъ критскихъ братьевъ: каждый изъ войска Акая могъ побѣдить любого изъ братьевъ критскихъ, сражаясь хотя бы и въ одиночку противъ двухъ-трехъ изъ пѣхоты Имато.

Благодаря мудрому управленію возставшихъ Акай въ концѣ концовъ добился того, что большинство возставшихъ претворили неумѣніе въ умѣніе и даже въ мастерство ратное: и добился того не только отъ отдѣльныхъ, наиболѣе талантливыхъ учениковъ, но и отъ цѣлаго. Возставшіе научились подъ мудрымъ его водительствомъ быть едиными, быть однимъ цѣлымъ: они обучались двигаться всѣмъ вмѣстѣ, держа строй неколебимо, не устрашаться любой опасности, гордо взирать смерти въ лицо, её презирая въ сердцахъ, мало-по-малу претворявшихся изъ сердецъ рабовъ въ сердца воиновъ; научилъ строиться любымъ изъ извѣстныхъ тогда видовъ построеній, сдвигая или же, напротивъ, раздвигая ряды свои, смотря по необходимости, а до того заранѣе – во мгновеніе ока – подготовляться – благодаря боевымъ дудкамъ – и къ оборонѣ, и къ наступленію.

Всё необходимое было въ ихъ распоряженіи; не было развѣ что коней; однако, напомнимъ, что и Имато – вопреки совѣтамъ Касато – строго-настрого воспретилъ использовать «противу черни», по его слову, колесницы, запряженныя конями. – Однимъ словомъ, войско подъ начальствомъ Акая претворилось въ силу поистинѣ грозную, съ чѣмъ и были связаны военные успѣхи его, которымъ былъ премного удивленъ и онъ самъ, ибо не былъ дотолѣ ни полководцемъ, ни даже воителемъ, коему пристало знать всѣ тонкости военнаго ремесла.

* * *

Какъ-то разъ, уже послѣ того какъ камни, нещадно бросаемые руками возставшихъ – самое малое – снова, вновь и вновь разсѣяли полоненныхъ трусостію, убоявшихся критскихъ братьевъ, чаще, впрочемъ, дробя головы ихъ… уже послѣ того какъ довершали дѣло стрѣлы, попадавшія мѣтко въ тѣхъ, въ кого не попали камни… уже послѣ того какъ пѣхота критская мало-по-малу пришла въ полное разстройство и бѣжала… уже послѣ того какъ, оглушая супостата, возставшіе валили его наземь, исторгали души безсчетно: руками, серпами, косами, ножами, мечами… – возставшіе, шедши вдоль холмистой мѣстности, отъ вѣка свойственной Криту, вновь узрѣли море, чья ширь разстилалася одесную; но не того желала плоть ихъ: томясь жаждою нестерпимою, алкали они воды прѣсной; искали источникъ недолго; и вотъ ужъ утоляютъ они жажду, рожденную зноемъ, великимъ въ силѣ своей…

Въ казавшееся мрачнымъ раздумье былъ погруженъ въ то время Акай, словно глядя и въ древнѣйшіе вѣки, и въ грядущія дали, прорѣзая вѣсь морокъ времени: на критскомъ закатѣ. Нѣчто незримое горѣло въ Акаѣ. Думалось ему: «Ей, гляди: се заря новаго міра: свободнаго. Критъ уже возрыдалъ: пламенемъ своихъ дворцовъ». – Не о славѣ и не о прибыткахъ, но о предстоявшихъ походахъ слагалъ думы и о новомъ сѣяніи пожара; замышлялись разрушенья; посрамленіе Крита близилось; походъ манилъ близостью, было не до сна ему; обдумывалъ грозящія опасности; глядѣлъ на Луну, размышляя, благословенье иль гибель сулитъ царица ночи, на копьяхъ ли узритъ грядущее братьевъ критскихъ или же братья его, которые и подъ пытками – не братья братьямъ критскимъ, не останутся вживѣ – полягутъ, сложатъ головы, познаютъ смерть и на поклевъ птицамъ будутъ лежать во прахѣ? Грядущее – зыбь, туманъ, морокъ. Но мысли такого рода словно и не мѣняли суровый и непреклонный обликъ Акая, человѣка мужественнаго, прямого и неколебимаго нравомъ, натуры крѣпкой и широкой.

Возставшіе тѣмъ временемъ разбили лагерь; покоривъ – уже очередной – дворецъ и захвативъ припасы изъ самого дворца, равно и изъ зернохранилищъ его, а также изъ принадлежащихъ ему и къ нему прилегающихъ деревень, – пировали. Смеркалось, и аэръ становился нѣсколько хладнѣе. Спускалась ночь. Вскорѣ и усталость подкралась къ душамъ ихъ. Утомленные дневною бранью возставшіе, ежеденно-несущіе разрушеніе всему Криту, подъ журчанье вечнонемолчнаго моря улеглись спать на критскомъ полѣ, отдыхающемъ отъ жаровъ дневныхъ и овѣиваемомъ теплыми аэрами. Вотъ уже и сонъ смеживаетъ имъ веки. Одинъ побѣдно спитъ калачикомъ точно котъ, другой сотряситель бытія – на спинѣ, третій ратникъ на животѣ, подмостивъ подъ голову одежу, четвертый дѣлатель великихъ дѣлъ – на комъ-то еще, попирая благородные критскіе устои, пятый – въ обнимку съ амфорою; всѣ сокрушители критскихъ обычаевъ, попиратели ига критскаго, поборники вольности святой – въ объятьяхъ ночи, недвижно-счастливы. Мечи да луки побросаны возлѣ спящихъ тѣлъ, и Луна, царица ночная, величаво бросаетъ на нихъ жемчужные свои лучи. Нигдѣ не явитъ себя движенье иль шорохъ какой. Вольно спитъ всё живое, опричь вечнободрствующей, но всё же уже клюющей носомъ стражи, вотъ-вотъ готовой покориться всемощной стихіи сна. На небѣ – сіянье розсыпи еженощно-бдящихъ звѣздъ, и вѣтеръ колышетъ рѣдкую, опаленную днемъ растительность. Вдали иной свѣтъ – величественно-гнѣвный, зловѣщій, вселяющій страхъ – догорающее зарево поверженнаго дворца, надъ которымъ небо облеклось въ какой-то грязно-огненный оттѣнокъ; обгорѣлая и

павшая обитель заживо-мертвыхъ, обгорѣлыхъ и павшихъ, – во прахѣ, доносятся оттуда еще еле слышимые стоны умирающихъ, но заглушаютъ ихъ храпѣніе, сопѣніе, свистъ да рѣдкіе пьяные выкрики мятежныхъ братьевъ, иные изъ спящихъ фигуръ которыхъ были тускло-тепло озарены догорающимъ, отдаленнымъ отсвѣтомъ павшей обители павшихъ. – Таковъ былъ едва ли не обычный день возставшихъ съ тѣхъ поръ.

* * *

А Малой тѣмъ временемъ метался и подумывалъ, не примкнуть ли къ возстанію. Ибо издавна чуялъ всю неправду критскую. Но еще болѣе чуялъ близость Иры: примкнешь къ возстанію – и не увидишь её болѣ. Можетъ, и растаетъ Ира, льдяная твердыня, за неимѣніемъ прочихъ мужей, занятыхъ дѣлами военными. Ира была ближе Иды, обѣ хладны, снѣжны, льдяны, но Ира казалась прекраснѣе.

Глава 6. Смерть Имато

Народъ – и возставшій, и сочувствующій дѣлу возставшихъ – винилъ во всёмъ жрицъ и всѣхъ царедворцевъ, кромѣ царя Имато: неприкосновеннаго для народа, по-собачьи преданнаго ему не какъ Имато, но ему какъ царю: ибо преданы они были ему не въ силу тѣхъ или иныхъ его качествъ, но только потому, что тотъ былъ царь, а царь есть царь, и выше только Матерь. Даже въ томъ, что царь въ чрезвычайныхъ условіяхъ смуты приказалъ возвдигнуть потомъ и кровью дитятъ своихъ (такъ порою именовался народъ царемъ) не одинъ десятокъ деревянныхъ храмовъ и нѣсколько дворцовъ, – виновны были люди вящіе, но никакъ не Имато: такъ мнилось народу, поистинѣ мертвымъ душамъ, сущимъ во гробехъ, отъ вѣка и до вѣка темному, духовно-женственному, оглушенному Мы, мычащему. Народъ – корова, а Имато – Быкъ.

Положеніе Касато становилось еще болѣе катастрофическимъ, несмотря на всю мудрость его, лукавость и возможность использовать любыя средства: не столько изъ-за того, что подпадалъ онъ подъ народную ненависть (хотя и въ меньшей мѣрѣ: его боялись), сколько изъ-за грозящей и нависшей надъ нимъ возможности стать козломъ отпущенія: Имато въ качествѣ уступокъ народу рѣшилъ провести показательныя казни нѣсколькихъ высокопоставленныхъ чиновниковъ и нѣсколькихъ жрицъ. Касато, опасаясь опалы, ожесточался, порою теряя извѣчное внутреннее свое спокойствіе, порою – низвергаясь въ отчаяніе, всё болѣе и болѣе былъ готовъ къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ, которыя становились для него часъ отъ часу всё болѣе и болѣе своевременными и попросту неизбѣжными. Когда началась очень короткая смута людей вящихъ, столь короткая, что мы не имѣемъ никакихъ ея подробностей, дабы описать её, смута, имѣвшая мѣсто лишь въ нѣсколькихъ дворцахъ недалеко отъ Кносса, Касато выказалъ себя самымъ преданнымъ царскимъ слугою: въ глазахъ царя. Казалось бы: затеплилась надежда въ сердцѣ, взойдетъ заря надъ мглою, но…Имато въ высшей мѣрѣ несвоевременно выказалъ свою медноголовость: жадничаньемъ: не послушалъ онъ Касато и не открылъ часть зернохранилищъ, дабы накормить – хлѣбами земными – и утихомирить, такимъ образомъ, смутьяновъ. Не послушалъ его Имато и въ слѣдующихъ его желаніяхъ: Касато хотѣлъ преобразовать устройство войска; также въ подмогу пѣхотѣ Касато желалъ использовать въ сраженіяхъ конницу, не щадя коней; помимо этого Касато велъ переговоры съ Египетской державою, ожидая отъ нея помощи въ подавленіи критской смуты въ обмѣнъ на многочисленныхъ рабовъ (Касато, въ частности, дозволялъ, случись сему состояться, забирать египтянамъ едва ли не любыхъ изъ критскихъ рабовъ, жившихъ ли по деревнямъ или же въ многочисленныхъ дворцахъ), нѣкоторое количество треножниковъ и прочихъ преобильныхъ числомъ подѣлокъ земли критской и

верховнаго Повара. – Всё это было подъ запретомъ для Касато. – Имато велъ самоубійственную политику, ведшую и его, и Критъ въ пропасть, крахъ и ночь.

Касато въ тѣ дни былъ внѣ себя и не всегда могъ сіе скрыть: впервые и въ самый неподходящій моментъ царедворцу не удалось навязать свою волю царю, несмотря на всѣ попытки (въ ходъ шло: вино, дѣвы, проигрыши въ кости, мнимыя самоуничиженія, шутовство, лесть, игрища, подсадная охота и рыбалка, – всё безъ проку). То было роковымъ «рѣшеніемъ» Имато: роковымъ въ первую очередь для него самого. Имато и въ самый роковой часъ скрывался: въ чувственныхъ сферахъ: пилъ не переставая, принималъ ванну нѣсколько разъ за день, спалъ большую часть дня, долго «разговаривалъ» съ любимѣйшею изъ своихъ обезьянъ (которыя были животными священными, божествами низшаго ранга, посредниками между богами и людьми), тщась найти отвѣты на мучившіе его вопросы о спасеніи критской державы, остальное время пребывалъ въ объятьяхъ дѣвъ, а свою супругу вдругъ началъ величать Великой Матерью, падая ницъ предъ ней и ей моляся. Снадобье сіе помогало: царь чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе не вѣдалъ, что творится въ добрыхъ земляхъ…

Касато прекрасно сознавалъ: положеніе во власти опредѣляется не личными заслугами, наградами, званіями, не происхожденіемъ, не добротою личной, ниже́ личными добродѣтелями, но токмо однимъ: чѣмъ-то, чѣмъ онъ владѣлъ въ совершенствѣ, и что, вмѣщая въ себя раболѣпство и угодничество, было всё жъ не только раболѣпствомъ и угодничествомъ, но чѣмъ-то большимъ. Что не Касато есть проводникъ воли Имато, но ровно наоборотъ, догадывались многіе, но не царь Крита, который имѣлъ столь же мѣдную голову, сколь мѣдными были и знаки царской его власти: ему и во снѣ не приснилось бы, что не онъ, но ближайшій помощникъ его руководитъ всѣмъ. Однако силою разраставшагося возстанія и неудачной борьбы съ нимъ, Касато, на коего была возложена борьба съ «мятежниками» (такъ называли возставшихъ во Дворцѣ, хотя и «мятежники» или «смутьяны» о томъ вѣдать не вѣдали), опасаясь потерять благорасположеніе Имато и, какъ слѣдствіе, власть (или – что вѣроятнѣе – попросту боясь потерять собственную жизнь), принялъ одно рѣшенье: низвергнуть въ небытіе царя. Касато сознавалъ: власть потеряетъ власть, ежели въ самое скорое время не принять самыхъ радикальныхъ мѣръ; таковой была смѣна династіи – дѣло, отродясь невиданное на добромъ Критѣ, но отъ того лишь болѣе дѣйственное въ дѣлѣ сохраненія власти…

* * *

– Съ рожденія воспитывали меня во страхѣ предъ отцомъ твоимъ; страхъ перешелъ и по отношенію къ тебѣ; словно я съ каждымъ мигомъ – находясь при тебѣ – всё болѣе и болѣе должаю тебѣ; словно быть подлѣ тебя – милость несказанная. Но я преодолѣлъ его: его побѣдило безграничное къ тебѣ презрѣніе. Владѣлъ ты міромъ, думая, что ты – путь, но ты не путь, но лишь путы, и распутье, и распутица. Вѣдай же: не украшеніе ты земли критской, но прыщъ на лонѣ ея, способный лишь разсмѣшить – сильныхъ – и держать во страхѣ – слабыхъ. Праздность – единственная добродѣтель твоя. Гораздъ ты лишь строить шалашъ: изъ человѣческихъ тѣлъ; но нынѣ плоть твоя – ступень моего восхожденія. Да и нѣтъ тебя: есть лишь сластолюбивая твоя плоть (да сгніетъ она – скорѣе, скорѣе!), погрязшая въ развратахъ, и нѣгахъ, и лѣни безпримѣрной, да воля женки (какъ скажетъ – такъ ты и дѣлаешь) да Матери, которымъ ты хочешь-не хочешь служишь – даже тогда, когда служишь плоти своей. Ты отъ вѣка былъ вялъ и слабъ – уже поэтому ты не можешь и не долженъ править; я еще спасаю тебя отъ неудобоносимаго бремени! Всегда, всегда былъ ты мертвъ! О, я благословляю мигъ сей: мигъ рожденія моей Свободы, валявшейся доселѣ въ грязи; зори неложныя всходятъ въ сердцѣ; но для тебя сказанное мною – не поздній закатъ, но самыя поздніе сумерки твоего бытія.

Имато, хрипя, тихо произнесъ, потрясая трясущейся десницею, съ широко отверстыми отъ страха глазами:

– Ты не всеподданнѣйшій нашъ слуга, но всеподлый, ты не возможешь…». Незадолго до того пали наземь царскія регаліи изъ всё болѣе и болѣе слабнущей руки.

Глядя презрительно и надменно на царя свергнутаго, сверкая налитыми кровью глазами, въ гордой, торжествующей позѣ, Касато продолжалъ:

– Успокой сердце свое: дѣйствіе яда не дастъ возможности тебѣ болѣ говорить свои глупости и тѣмъ паче повышать на меня голосъ, какъ то ты привыкъ дѣять. Да, успокой убогую свою душу и внемли, покамѣстъ ты еще можешь внимать, о медноголовость, столь долго возсѣдавшая на тронѣ! Самая Судьба избрала меня своимъ орудіемъ, а Правда – своимъ глашатаемъ. Не моли боговъ: они не окажутъ тебѣ вспомоществованіе: ихъ нѣтъ. Нѣмота и глухота Бога, боговъ, богинь, – всё, что я слышалъ, видѣлъ, сознавалъ. Впрочемъ, ты и безъ меня о томъ вѣдаешь, но не вѣдаешь о томъ, что я, видимо, осѣненъ ихъ несуществующей тѣнью, разъ дѣло удалось. И внемли мнѣ, ибо ты впервые бесѣдуешь со мною, хотя вѣдать и внимать ты не могъ и пребывая здравымъ: отъ рожденія и до смерти глупъ ты, какъ конь, съ коими сознаешь ты глубинное сродство, ибо имѣешь столь же мѣдную главу, какъ и мечи да щиты (съ бездумнымъ на нихъ напечатлѣніемъ себя пожирающаго змія: словно воинство само себя пожираетъ; иное – выше силъ его)… мечи да щиты критскихъ братьевъ, наихудшихъ воевъ во всей Вселенной, способныхъ на что угодно – но не на воинствованіе. Знай же: всешутѣйшія мои наименованья, тобою данныя, облетятъ, яко листья осенью: съ твоею смертью ихъ позабудутъ. Будутъ помнить: Касато Мудраго, Касато Справедливаго: перваго немедноголоваго царя всего Крита. А тебя позабудутъ, и я приложу всѣ свои усилія, всю хитрость свою, вѣсь свой умъ и всю волю (которыхъ у тебя не бывало отъ вѣка, какъ и у предковъ твоихъ), дабы низвергнуть тебя въ тьму незнанія, дабы и слѣда отъ твоего царствованія вѣка не запомнили. И буди тако! О, ты уже грядешь въ удѣлъ свой: въ небытіе, – мышцы твои окоченѣли. Стало быть, ты покинешь міръ быстрѣе, чѣмъ я думалъ. Что жъ: ты заслужилъ небытіе. Я же – заслужилъ бытіе и ту полноту власти, которую ты – своимъ рожденьемъ – укралъ у болѣе достойныхъ, болѣе мудрыхъ, болѣе храбрыхъ, болѣе сильныхъ. Да, лице твое выражаетъ ужасъ, ибо онъ внутри тебя, ты полнишься имъ. О, если бы я могъ продлить мигъ, лишь мигъ славныхъ твоихъ мученій, столь сладкихъ для моего сердца. О, если бы я могъ! Жаль, силы покидаютъ тебя и скоро покинутъ во вѣки вѣковъ. Вѣдай: не быть – а сіе есть твоя участь – еще хуже, много хуже твоихъ нынѣшнихъ – въ полной мѣрѣ заслуженныхъ – страданій. Да, тебѣ навѣки будетъ много, много хуже: хуже муки страданій есть мука не быть. И – покамѣстъ – ты еще дышишь, я добавлю: я позабочусь о томъ, чтобы память о тебѣ была стерта съ лица земли. О, я постараюсь преуспѣть въ этомъ. Слышишь, постараюсь! О зори грядущаго, не ослѣпите меня, голову не вскружите!

Касато, лучась страшною, темною местью, пылая въ ужасной своей злобѣ, вскочилъ съ мѣста и выпилъ вина изъ своего – а не царскаго – кубка. Пилъ онъ жадно, и жаднымъ былъ обликъ его, искаженный злобою, сочившейся изъ сковавшей его улыбки и изъ пренадменнаго его взора. Страсти клокотали въ немъ, и безпокойство пожирало его.

Глядя на зарю, молвилъ, презрительно толкнувъ ногою полубездыханное тѣло Имато, провѣряя, живъ ли тотъ; но мысли бывшаго царедворца были заняты инымъ: не старымъ и сгибшимъ, но новымъ и нарождающимся. Такъ и не удостовѣрившись въ смерти царя, воздѣлъ Касато руцѣ къ небесамъ, словно моляся имъ, и возглаголалъ:

– Я есмь Касато, мужъ хитрости великой, низостей высокихъ, предательствъ блестящихъ, коварностей благороднѣйшихъ: такъ я возвеличилъ свое имя до неба и до самыхъ глубинъ Земли. Такъ, такъ да запомнятъ меня вѣка. Вѣка! Отнынѣ я безсмертенъ: въ сердцахъ людскихъ: слава моя никогдаже погибнетъ! Вселенная въ самомъ скоромъ времени узнаетъ величайшаго изъ великихъ, творившаго невозможное, а самыя слова «мудрость» и «справедливость» впервые узнаютъ себѣ цѣну, впервые обрѣтутъ смыслъ, ибо еще не было до меня ни мудрости, ни справедливости. Я – заря Крита новаго, небывшаго.

Тутъ услыхалъ онъ хрипъ предсмертный:

– Мы, Имато, царь царствующій, не можемъ скончаться, почить: то свойственно низкимъ. Нѣтъ! Нѣтъ!.. Не можемъ: мы Смерти выше – мы безсмертны! Мы есмы Быкъ красноярый: потому Мы любимъ коней; Ты – Конь: потому любишь быковъ. Но ты тотъ – единственный – конь, коего я проклинаю вовѣкъ. Будь же ты проклятъ навѣки!

Пустыми глазами уставился на Касато царь, бывшій царь. Звѣзды вонзались въ бархатъ ночи. Но дремали еще грядущіе вихри и бури, въ то время какъ самая зависть стала завистью вѣнценосною.

* * *

Умащенное на египетскій ладъ тѣло Имато, почитавшееся священнымъ, завернутое въ плащаницу злато-багряныхъ тоновъ, покоилось на колесницѣ, впряженной въ три вовсе не особливо любившихся царемъ коня (вопреки обряду, ибо согласно обряду въ подобныхъ случаяхъ закалывали и хоронили вмѣстѣ съ усопшимъ царемъ наиболѣе любимыхъ его животныхъ). Шествіе, собравшее и богатыхъ, и бѣдныхъ, и молодыхъ, и старыхъ, ждало указа рукой царя новаго – Касато, нареченнаго тотчасъ же при его восшествіи на престолъ Мудрымъ.

Его восшествіе на престолъ было, однако, обрядомъ закрытымъ и проходило внѣ чужихъ глазъ нѣсколькими днями ранѣе, тотчасъ же послѣ смерти Имато; проходило оно во дворцѣ, въ одной изъ залъ, примыкающей къ тронному залу; сущность его состояло въ очищеніи Касато отъ скверны: только послѣ сего могъ Касато нарицаться царемъ; скверну – словно губка влагу – впитывали бычьи шкуры, содранныя съ только что закланныхъ быковъ, разостланныя по залѣ, шкуры, по которымъ босикомъ – спиралевидно и мѣрно – прошествовалъ Касато, обрѣтая власть высшую; послѣ же – съ подобающей случаю торжественностью – вручали Касато царскія регаліи: таковъ былъ давній критскій обычай; но Касато не боялся нарушить древній сей обычай: вмѣсто Лабриса и жезла, постановилъ онъ отнынѣ считать регаліями мечъ и бичъ. Лучась злобою, походя болѣе на нѣкоего грознаго бога, чѣмъ на человѣка, хотя бы и царскаго чина, величаво-неспѣшно принялъ Касато, сей посредникъ межъ боговъ и людей, подобающія ему отнынѣ регаліи; и чѣмъ медленнѣе являлъ себя Касато, тѣмъ большее волненіе пронзало всё чаще и чаще бившееся сердце подносившаго, вскорѣ упавшаго замертво, что вызвало предовольную усмѣшку, скрывившую Касато, носителя власти высшей въ земляхъ добрыхъ еще и до вѣнчанія на царство, еще до восшествія на святый престолъ; но всё жъ отзвукъ удара былъ словно гонгомъ, ударомъ колокола, великимъ рубежомъ: завершеніемъ бытія Касато-прежняго и рожденія Касато-царя; ревъ, рыканіе изверглось изъ Касато, когда воздѣлъ онъ руцѣ къ небесамъ, скрытымъ потолкомъ залы, и былъ онъ внѣ себя, ибо претворился въ изступленіе, въ захлестывающій и душу, и главу восторгъ, но болѣе всего – во власть, еще большую власть: и свѣтскую, и духовную: воедино; ибо отнынѣ Касато и наивысшая власть – одно: для любой распростертой на землѣ твари. Однако вернемся къ тому, что было послѣ: къ шествію.

Кноссъ былъ всецѣло въ траурѣ черномъ; веселиться, взбреди сіе кому въ голову, было запрещено указомъ новаго критскаго правителя. Улицы, а всего болѣе площадь близъ Дворца, съ коей и начиналось шествіе, были наводнены людомъ.

Впереди – еще торжественнѣе, чѣмъ прочіе, – шла конница, далѣе располагалися наиболѣе почетные отряды критскихъ братьевъ, ихъ гвардія своего рода, понуривши головы.

Лишь послѣ шелъ Касато со слугами первѣйшими; именно возлѣ него неспѣшно двигалась колесница съ тѣломъ Имато. Далѣе можно было узрѣть жрицъ высочайшихъ, главнѣйшихъ; горе, казалось бы, безутѣшное и идущее изъ самыхъ глубинъ души, читалось въ лицахъ шедшихъ; но то было не горемъ подлиннымъ, но озабоченностью: что будетъ при правителѣ новомъ для судебъ ихъ. И многіе изъ народа думали: неспроста династія прервалась, стало быть, воля богинь, разъ Имато почилъ толь младымъ и лишеннымъ прямыхъ своихъ наслѣдниковъ, въ разгаръ возстанія и глада. Но люди, какъ правило, тщились скрыть подъ наигранной

скорбью подлинныя свои мысли о семъ, что имъ весьма удавалось: критянинъ того времени былъ прирожденный лицедѣй.

Какъ ни странно, погребальное шествіе ограничивалось только лишь сердцевиною Кносса. Какъ думали ближайшіе придворные царя новаго, то было вызвано всепронзающими зноями: Касато не могъ долго передвигаться по граду въ толь жаркую погоду; а ночь была временемъ неподходящимъ для шествія такого рода. Возможно, то были лишь отговорки, а всё дѣло было въ томъ, что Касато Мудрый не желалъ дѣлать его поспѣшнымъ, каковымъ было погребальное шествіе предшественника Имато, великаго царя восточныхъ и западныхъ земель Крита Атуко Святояра, когда тѣло его возили на колесницѣ во всѣ крупные грады Крита (то было возможно милостью непревзойденнаго искусства египетскихъ жрецовъ, умѣвшихъ какъ никто до и никто послѣ претворять въ нетлѣнное священныя тѣла и на вѣка сохранять ихъ таковыми – такъ, что они вовсе не разлагались, несмотря на южные жары). Чернь изъ градовъ и селеній отдаленныхъ была опечалена рѣшеньемъ Касато, но возразить никакъ не могла: то было не положено; равно какъ и не могла попасть на шествіе въ силу раздѣляющихъ ихъ разстояній.

Послѣ жрицъ – непосредственно предъ собравшимся людомъ – шли многочисленныя плакальщицы, ремесло чье передавалось изъ поколѣнія въ поколѣніе; онѣ не переставая рыдали: часами; и восхваляли почившаго; ихъ собирали въ количествѣ меньшемъ и при погребеніи всѣхъ высшихъ чиновъ Крита. То же касалось и музыкантовъ съ чернаго цвѣта дудками и флейтами, игравшихъ нѣчто заунывное, однообразное и разумѣвшееся въ тѣ предалекія эпохи торжественнымъ въ высшей мѣрѣ.

Касато, избравши часы вечерніе для сего дѣйства, не прогадалъ: Солнце палило не столь люто, какъ въ полдень, когда оно словно готово разорваться вдребезги на яркожалые куски-стрѣлы. И, хотя шествіе обѣщало быть несравнимо болѣе быстрымъ, напечатлѣнье скуки всё же вырисовалось на лицѣ Касато, что не могло не быть замѣченнымъ иными изъ высшихъ чиновъ, шедшихъ близъ него. Быть можетъ, сказывался обрядъ – болѣе пышный, чѣмъ похоронный, – восшествія Касато на святый престолъ; и слѣдовавшія за нимъ возліянія обильныя, длившіяся нѣсколько дней къ ряду среди царя и только лишь наиближайшаго его окруженія; и изступленія да восторги царя новаго отъ сознаванья небывалаго своего воздвиженья по милости Судьбы, премного благоволившей ему отъ самаго его рожденья.

Быть можетъ, сказывался и гладъ, охватившій Критъ; и Касато не желалъ тратить излишки продовольствія и винъ на простыхъ и непростыхъ своихъ подданныхъ: пиршествъ не было – ни большихъ, ни малыхъ, ни единаго пира для рядовыхъ государевыхъ слугъ, ниже́ всенароднаго: достаточно и того, что былъ пиръ горой при восшествіи Касато на престолъ днями ранѣе – хотя бъ и только среди чиновъ наивысшихъ. Ясно также, что Касато вѣдалъ: народъ сознаетъ, что сами богини возжелали прервать династію, выродившуюся на Имато, а потому не будутъ роптать на отсутствіе пира народнаго въ честь похоронъ почившаго. Вѣроятно, съ этими небывало жестокими обстоятельствами было связано и его упорное нежеланье – снова обычаямъ вопреки – руками слугъ своихъ приводить любимыхъ и многочисленныхъ животныхъ царя прежняго. – Не было коней, почитавшихся Имато столь высоко, ни быковъ, ни собакъ: всѣхъ ихъ было принято, слѣдуя древнему какъ міръ обычаю, приносить въ жертву при погребеніи умащеннаго тѣла царя. Вмѣсто сего – нѣкимъ чудеснымъ образомъ – число братьевъ критскихъ, было увеличено въ разы…

Наконецъ, шествіе, совершивъ малый кругъ, то есть прошедши лишь по сердцевинѣ Кносса, оказалося вновь подлѣ Дворца. Царь, удалившись въ чертогъ, выпивши тамъ воды и переведя духъ, неспѣшно поднялся на то, что впослѣдствіи было названо балкономъ. Пока онъ поднимался, такія мысли – или, скорѣе, обрывки ихъ – пронеслись у него въ головѣ: «Толпа захмелѣетъ отъ единаго моего облика, толпа облобызала бы ноги мои, если бъ могла; правленье же – ослѣпитъ людъ: своими чарами; уловимъ людъ, яко рыбу морскую; ужасъ падетъ на возставшихъ; многомощный, я дарую Криту покой вожделѣнный, и воспрянетъ посрамленный

Критъ, о, какъ воспрянетъ онъ! Да, велика твоя сила, о Кноссъ вседержавный!». Обведя – еще болѣе неспѣшно – взоромъ тысячныя толпы, лежавшія у ногъ его, но ни на комъ не останавливая монаршаго своего вниманія, торжественно-грустно возглаголалъ вѣнчанный властелинъ, глядя въ вечернія небеса:

– Скорбимъ, братья и сестры: нашъ отецъ скончался. Отъ заботы великой преставился царь: душу испустилъ онъ, не переставая слагать думы о счастьи дитятъ своихъ: народа критскаго. Былъ онъ скроменъ и просилъ похоронить себя въ могилѣ, простой и безымянной, безъ знаковъ отличія, дабы никто не вѣдалъ, гдѣ похороненъ онъ: такова была воля царя. Но вѣдайте, о народъ земли добрыхъ, принятый подъ державное мое водительство: се, настала эпоха иная, что вѣдать не будетъ о злоключеньяхъ; помните о томъ: и правленье мое да не будетъ для васъ горькимъ; но начнется оно съ подавленья возстанья, нечестиваго и неугоднаго богамъ.

Чудище поглотило чудище.

Не дожидаясь погребенія, Касато удалился въ палаты Лабиринта, къ вящей скорби собравшихся…

Таково было высочайшее шествіе.

Война – грозная, громная – временно умолкла.

Такъ являлъ себя мирный, но отъ того не менѣе жестокій – по-восточному жестокій – минойскій Критъ: на закатѣ собственнаго бытія.

Часть II
Осенняя жатва, или теофаніи. Къ исторіи одного рожденія

Самый могущественный человѣкъ тотъ, кто стоитъ на жизненномъ пути одиноко.
Генрихъ Ибсенъ

Это невозможно и именно поэтому достовѣрно.
Гете «Фаустъ»

Не знаете ли, что дружба съ міромъ есть вражда противъ Бога? Итакъ, кто хочетъ быть другомъ міру, тотъ становится врагомъ Богу. (Іак. 4,4)
Кто борется съ міромъ, становится великъ побѣдою своею надъ міромъ;
кто борется съ самимъ собою, становится еще болѣе великъ побѣдою надъ самимъ собой;
тотъ же, кто борется съ Богомъ, становится превыше всѣхъ.
Серенъ Кьеркегоръ "Страхъ и Трепетъ"

О, боги съ тысячью зубовъ,
Тысячерукія богини!
Вамъ, жаднымъ, пиръ вашъ вѣчно новъ,
Но вижу я за моремъ сновъ
Однообразіе пустыни.
Бальмонтъ

Прочь, люди!
Если бы я могъ схватить зубами всю твою вселенную!..
Я грызъ бы её, покуда отъ нея не осталось бы оскаленное чудовище, страшное, какъ моя мука.
Шиллеръ

Глава 1. Лабиринтъ, или дни несчастій

Если ранѣе на Критѣ царила Жизнь, то нынѣ Смерть, неумолимая, будто Судьба, расправила крылія и властвовала, себя казавши моромъ, гладомъ и тьмами жертвъ. Тотъ, кого позднѣе нарекли Аполлономъ, плавилъ аэръ: стрѣлами смертоносными, давя и губя всё живое; аэръ дрожалъ, подрагивалъ, переливаясь, струясь и мерцая немѣрно. И была осень – какъ ножъ.

Рыдалъ вѣсь Критъ, и стенала земля, оплакивая Имато Благобыкаго, Имато Багрянороднаго, но, умывшись кровью, потомъ и слезами, не очистился Критъ; сквозь рыданія и плачи поначалу часть народа воспринимала Касато какъ отчасти самозванца, но то была малая часть критянъ; съ иной стороны, самозванецъ обѣщалъ быть болѣе мудрымъ, нежели Имато и – кто вѣдаетъ? – болѣе благорасположеннымъ къ народу; иные – большинство – попросту боялись думать о столь высокихъ матеріяхъ, да и думать имъ было некогда и непривычно. Народъ безмолвствовалъ, что въ нашемъ случаѣ означаетъ: колебался между возставшими и властью новою, какъ правило, со страхомъ отдавая предпочтеніе первымъ. Зримы были дѣла Акая (а, быть можетъ, и иное – пребываніе на тогдашнемъ Критѣ *иного*): обычно на Востокѣ въ подоб-

ныхъ обстоятельствахъ принималъ людъ новаго правителя оцѣпенѣло, неподвижно: по-рабски смиренно, молча, покорно.

Новый правитель, Касато – послѣ того какъ его попытка заключить миръ съ возставшими кончилась неудачею, о чёмъ и сама Исторія не вспомнитъ въ подробностяхъ, – въ борьбѣ съ возстаніемъ началъ съ рѣшительныхъ дѣйствій: первымъ дѣломъ попросилъ помощи у фараона, отдавъ тому нѣкоторое число рабовъ и иныхъ ремесленниковъ изъ числа наиболѣе цѣнныхъ, полусвободныхъ и работавшихъ на государство, Повара Всего Крита (случись сейчасъ Имато, мертвому Имато, узнать объ этомъ – онъ самое малое упалъ бы въ обморокъ, но того вѣроятнѣе, что упавши въ обморокъ, онъ уже никогда бъ не возсталъ), невеликое множество драгоцѣнностей мѣстной работы (ихъ онъ отдалъ нехотя, съ долгимъ торгомъ, какъ всегда было принято на Востокѣ; сторговались на замѣтно меньшей суммѣ), о которыхъ мы уже вели рѣчь, и въ придачу къ нимъ вино да елей; однако отмѣтимъ, что прибыло на Критъ не все обѣщавшееся воинство фараона, а лишь большая его часть; египтяне сіе объясняли тѣмъ, что часть воинства ихъ погибла въ кораблекрушеніи, рожденномъ небывалымъ штормомъ; море къ юго-востоку отъ Крита нѣкоторое время еще называли Горькимъ моремъ. Помимо сего куплена была множество оружія, привезенное съ Востока въ обмѣнъ на вино, масло оливъ и цѣнныя породы деревьевъ. Этимъ Касато не ограничился: провелъ преобразованія воинства – съ цѣлью увеличенія боевого духа его; мы не знаемъ подробностей ихъ проведенія и даже сути ихъ, но извѣстно, что они были жестоки для братьевъ критскихъ, число коихъ нѣкимъ образомъ уменьшилось, а военные навыки возросли; военачальника, съ недавнихъ поръ бывшаго главнокомандующимъ, не то казнилъ смертью, не то сослалъ навѣки въ непробудное рабство. О военачальникѣ новомъ было извѣстно, что онъ пользовался если не любовью, то уваженіемъ, ибо уваженіе на Критѣ той поры всегда зачиналось страхомъ и было родственно послѣднему по самой своей сущности; страхъ, глаза котораго велики, не перенесся, однако, на возставшихъ. Такъ онъ училъ ратниковъ своихъ: «Эй, гожіе къ службѣ, чинно ступаемъ, чинно, разъ-два, сволочь…вотъ такъ мечъ держать, дурачина, ровнѣе…быстрѣе, разъ-два…руби ворога вотъ такъ, разъ-два…я научу васъ бранной жизни…кто не могетъ, того самъ буду кнутомъ нещадно бить, аки татей… будете у меня пить воду морскую». Подобныя рѣчи часто слышны были. Извѣстно также, что Касато приказалъ использовать въ борьбѣ съ окаянными мятежниками не только всю имѣющуюся конницу, но и поверхъ сего повелѣлъ высочайшимъ указомъ сыскивать всѣхъ коней критскихъ и сгонять ихъ къ кносскому Дворцу, дабы увеличить число всадниковъ. Также въ кратчайшіе сроки онъ дотолѣ вооруженное пращами и луками критское войско вооружилъ наспѣхъ изготовленными обоюдоострыми сѣкирами: оружіе въ видѣ самаго священнаго символа минойскаго Крита – Лабриса – должно было поднять боевой духъ критскихъ братьевъ; сему служило и созданное на скорую руку напечатлѣнье восьмерки на щитахъ солдатъ, которая, какъ и Лабрисъ, означала плавное перетеканье круговорота природы, безконечное ея становленіе, божественные ея плавность, незавершенность, текучесть; съ оной поры всё болѣе и болѣе переставалъ быть Лабрисъ символомъ, лишь символомъ: всё меньше изображали его и всё больше изготовляли. Но главнымъ повелѣніемъ Касато было то, что и критскіе братья, и конница стали лишь вспомогательными войсками: главную роль отводилъ онъ египетскимъ воинствамъ. Такимъ образомъ, если ранѣе перевѣсъ силъ былъ на сторонѣ возставшихъ, то отнынѣ былъ онъ на сторонѣ правительственныхъ войскъ. Къ сказанному добавимъ: по манію Касато принесли и нѣсколько человѣчьихъ жертвъ числомъ не то въ 6, не то въ 9 мальчиковъ и во столько же дѣвочекъ изъ числа критянъ: всё – ради побѣды. И послѣднее, что извѣстно: Касато отдалъ приказъ не записывать ни о ходѣ возстанія, ни о борьбѣ съ нимъ: до окончательной побѣды.

Денно и нощно горѣлъ огнь градскій на Критѣ, но нынѣ государство въ бѣдахъ бытовало и было осквернено: возстаніемъ. И былъ затушенъ повелѣніемъ Касато огнь градскій, доселѣ

негасимый и почитавшійся возжженнымъ самою Матерью, а потому и отъ вѣка чистымъ: до подавленья нечестиваго мятежа и водворенія священнаго порядка.

* * *

Изъ дворца въ дворецъ посылали своихъ слугъ – мужей, дабы предупредить объ опасности. Рѣдко кто изъ нихъ достигалъ своего назначенія: гонцовъ узнавали и убивали либо сами возставшіе, либо жители окрестныхъ селеній, бывшихъ, какъ правило, въ большей мѣрѣ или мѣрѣ меньшей – въ силу страховъ, леденившихъ ихъ дерзновеніе – на сторонѣ возставшихъ. Жители самое малое сочувствовали дѣлу ихъ и тайно отъ властей помогали имъ чѣмъ могли.

Итакъ, не встрѣчая въ цѣломъ серьезнаго сопротивленія, Акай, многократно умноживши и усиливши свои ряды, регулярно пополняя запасы пропитанія въ захваченныхъ дворцахъ и придворцовыхъ хранилищахъ, а также въ прилегающихъ къ дворцамъ селеніяхъ, захватилъ большую часть прибрежныхъ земель Крита. Однако онъ – волей-неволей – столкнулся съ трудностью: въ силу общекритскаго размаха возстанія къ нему примкнуло столь великое множество народа, что вовсе не критскіе братья были страшны возставшимъ (даже случись первымъ быть объединенными противъ вторыхъ), но гладъ (который, напомнимъ, и былъ одной изъ причинъ возстанія и непосредственнымъ къ нему поводомъ). Сами возставшіе, будучи опьяненными успѣхомъ общаго дѣла и многочисленными побѣдами, вовсе не собирались расходиться по домамъ (многіе не вѣдали, въ какой сторонѣ ихъ домы: такъ далеко иные отошли отъ родныхъ мѣстъ). Толпа желала одного: взять – осадой ли, штурмомъ ли – Крита твердыню главнѣйшую: дворецъ кносскій.

И вотъ возставшіе, закаленные многочисленными побѣдами, уже многіе дни и недѣли шли къ державному Кноссу, къ сердцу Крита, не встрѣчая сопротивленія (но всё же его ожидая). «Лишь Кноссъ, столица минойскаго Крита, – впереди: Критъ уже нашъ!», – воодушевлялъ своихъ братьевъ Акай, повторяя эти слова часто, и походили слова эти на заклинанія. Возставшіе шли по холмамъ, нѣкогда изобилующимъ ячменемъ, вдали виднѣлись оливковыя дерева. Дорога начала понижаться, солнце пекло всё такъ же. Вдали – разстояньемъ въ три-четыре стрѣлы, пущенныхъ мощною рукою, – показался бѣлѣвшій дворецъ, и былъ дворецъ – какъ упавшее Солнце.

На подступахъ къ Дворцу, походившему не только на Солнце, но и на огромное слѣпое око, они и впрямь увидали рѣсницы ока: немногочисленную пѣхоту, не обратившуюся, однако, бѣжать куда глаза глядятъ, какъ то бывало обычно и къ чему привыкли возставшіе. Конница съ лошадьми, которыми, между прочимъ, такъ дорожилъ покойный Имато, тщась найти возставшихъ и, нашедъ, покарать ихъ, безъ проку носилася по Криту, загоняя многое множество скакуновъ. Возставшіе быстро изничтожили пѣхоту, которая, признаемъ, стояла насмерть – до послѣдняго ея человѣка: быстро была она разсѣяна численно – несравнимо – превосходившими войсками возставшихъ, претворившихся въ волну, бурю, молнію; что жъ, стояніе на смерть побѣдою не увѣнчалось для братьевъ критскихъ, отправивъ ихъ въ царство Смерти.

Слышались громогласно издаваемыя слова:

– Боль жрицъ за нашу боль: нашу, и отцовъ нашихъ, и дѣдовъ!

– За равенство и братство!

– За торжество Правды!

– Наша взяла, хоть и рыло въ крови!

– Будетъ волчицамъ насъ грабить да въ уздѣ держать!

– Веди, Акай!

– За предводителя!

– Жрицъ насилить будемъ, братья!

– Коли мы до седьмого колѣна воздѣлывали земли въ потѣ лица, ловили рыбъ подъ Солнцемъ всеопаляющимъ, прозябали въ гладѣ и морѣ, дабы кормить разжирѣвшія ихъ тѣлеса, – такъ пусть же такъ поживутъ и наши угнетатели!

– Вѣрно, братъ, говоришь. Вѣрно!

– Осталось лишь сокрушить главнѣйшій изъ дворцовъ, разсадникъ Зла, сердце Несправедливости, коли цѣпи раба – незримыя, но отъ того не менѣе крѣпкія, – уже разбиты, – оралъ во всё горло нѣкій бывшій писецъ.

– Эй, наши, голову слушать: голова нашъ говорить желаетъ!

Акай, оглядывая тьмочисленное свое войско, покамѣстъ не восцарствовала тишина, началъ рѣчь, предостерегая возставшихъ:

– Помните, братья мои, помните въ сердцахъ своихъ о коварнѣйшихъ ловушкахъ: о хлѣбѣ земномъ. Кто, какъ не привыкшіе господствовать, умѣетъ играть на этомъ? Они, они способны потушить праведнаго возстанія святый огнь.

– Никогда! – слышалось повсюду.

– Никогда! – громогласно отвѣтствовалъ Акай. – Такъ ужъ заведено, что родъ людской дѣлится на господъ и рабовъ – безо всякой надежды на примирительную середину – на угнетающихъ и угнетенныхъ, на пресыщенныхъ и истерзанныхъ гладомъ, на волчицъ и ягнятъ, на пожираемыхъ и пожирающихъ, на принуждающихъ страдать и страждущихъ, на покоряющихъ и покоренныхъ.

Торжественно оглядывая возставшихъ, вѣрнѣе, только возстающихъ изъ незакатнаго рабства, послѣ нѣкоторой паузы, продолжалъ Акай:

– Такъ будемъ же и мы пить изъ рога изобилія, изъ чаши благоденствія. Насталъ и нашъ часъ! Но да не поддадимся же и нынѣ увѣщаніямъ жрицъ и крысъ придворныхъ!

– О да, не поддадимся и да сокрушимъ твердыню Зла! – вопили наиболѣе загорѣвшіеся пламенною рѣчью Акая, пьяные и безъ вина.

– Помни, всякъ меня слышащій: въ сѣчѣ грядущей всѣ мы обрѣтемъ свободу вящую – и тѣ, кто поляжетъ, и тѣ, кто будетъ пировать на самой на вершинѣ Дворца. Но ежель и суждено намъ сгибнуть – дорого, дорого продадимъ мы наши души! – этими словами окончилъ свою рѣчь Акай.

– Слава Акаю! Мы твои – до гроба! – гремѣли возставшіе.

Кто-то изъ нихъ зычно и громно крикнулъ, заглушая прочихъ:

– Завтра, завтра одержимъ мы побѣду, о коей будутъ долго еще пѣсни пѣть, ибо не пожалѣемъ себя! Войско вражье вяло въ сердцѣ своемъ. Они только что и желаютъ, какъ убѣжать съ поля боя – да поскорѣе!

* * *

Чередою нескончаемою хлынулъ народъ: къ предмѣстьямъ Кносса; людъ былъ угрюмъ и напоенъ страхами за свою дерзость; но – скорѣе благодаря, нежели ему вопреки, – была толпа шумлива, гоготала она, разливаясь по аэрамъ отъ гулкихъ басовитыхъ голосовъ до пищанья дитятъ; и былъ гулъ по землѣ критской; и была чернь зла; и злой былъ жаръ дневной.

Ширилось число пришедшихъ, преходя въ великое множество. Случись множеству сему быть едину, то была бъ сила прегрозная, но была толпа сущностно разсѣянною: одна часть алкала, какъ то ей всегда было свойственно, хлѣба и зрѣлищъ; она и вѣдать не вѣдала, что помимо хлѣба земного есть хлѣбъ небесный. Иная часть толпы также вѣдать не вѣдала о хлѣбѣ небесномъ, но въ отличіе отъ черни, желавшей во что бы то ни стало утолить извѣчные свои глады – здѣсь и сейчасъ и любою цѣной (хотя бы завтра ихъ и казнили), – сія часть толпы желала перемѣнъ и ради перемѣнъ жертвовала до времени хлѣбами и зрѣлищами. Но какихъ

именно перемѣнъ алкала она? Ясно одно: свергнуть Касато и царствовать вмѣсто него и владѣть Критомъ.

Но вотъ возставшіе, влекомые да подгоняемые красноярымъ быкомъ страстей, уже близъ Кносса; Кноссъ – въ кольцѣ возставшихъ; осажденъ Кноссъ, столица минойскаго Крита, и, кажется, нѣтъ исхода для него. Близятся возставшіе къ кносскому дворцу-лабиринту: къ послѣдней твердынѣ. Касато въ немъ нѣтъ, Касато схороненъ Критомъ, незримо обитая не то въ немъ, не то въ Египтѣ, и одной лишь Матери было извѣстно, гдѣ былъ онъ схороненъ; но есть жрицы въ Кноссѣ, въ кносскомъ Дворцѣ.

Словами чахлыми и лживыми бросилась власть въ сердца и желудки народные. Иные – съ глазами болѣе алчными и желудками болѣе пустыми – вѣрили: поддавалась они въ своемъ ослѣпленіи увѣщаніямъ жрицъ: власть обѣщала быть какъ никогда ранѣе щедрой, случись толпѣ разойтись и выдать въ руки жрицъ своего главаря. Но и другая, еще менѣе терпѣливая, съ волею еще болѣе короткою, часть толпы пускала слюни отъ обещаемаго: обещаемое – дары Аримана (неизвѣстнаго въ этихъ земляхъ лишь названіемъ, но не тѣмъ, чѣмъ онъ вѣдаетъ) – туманило мозги: всего лишь одно имя, одинъ лишь жестъ десницею на главаря, внѣшне никакъ отъ прочихъ не отличимаго, – и ты сытъ какъ никогда ранѣе. Болѣе того: всѣ сыты; и, быть можетъ, надолго: кто вѣдаетъ? Но на иной чашѣ вѣсовъ – Свобода чаемая, о коей не разъ вѣщалъ Акай. Иные, наиболѣе свободные изъ собравшихся, сознавали, что царь гласомъ жрицъ либо обманетъ, либо даруетъ десницею народу то, что украла у народа шуйца; но таковыхъ было не болѣе сотой доли отъ всѣхъ собравшихся.

Толпа надвигалася – несмотря на страхъ, оледенившій сердца, лишь сердца, – на дворецъ. И вотъ – окружила его: попала въ тенеты Лабиринта. Грозны были лица, и грознымъ предстало бы самое зрѣлище, случись кому увидѣть сіе изъ эпохъ болѣе сытыхъ.

И вышли жрицы на балконы чертога, сіи матки критскаго улья, со змѣями въ руцехъ или же на шеяхъ, лоснящіяся, мраморно-бѣлыя, съ власами черными, вьющимися, въ юбкахъ колоколообразныхъ, съ таліями – въ тростинку, величественно-медлительныя, презрительно взирающія на нижераспростертую суету. И обнажили жрицы верхнюю часть блѣдныхъ, яко Смерть, скорѣе синихъ, чѣмъ бѣлыхъ, тѣлъ – по повелѣнію надменной, какъ никакая иная, и неподвижной, какъ изваяніе, ихъ предводительницы, владычицы дворца, которая, несмотря на оголенность вплоть до таліи, вышла не въ чёмъ мать родила: хотя и были ея власы распущены (однакожъ на дѣлѣ уложены искусно и старательно), покоились они величаво на діадемѣ, искрящейся подъ всеопаляющимъ Свѣтиломъ; изъ діадемы виднѣлися змѣи извивающіяся; змѣи обвивали главу ея, и птицы кружились надъ нею, а одна изъ нихъ сидѣла на тонкихъ ея раменахъ; на раменахъ также покоились змѣи, обвившія выю; въ розовыя ушныя ея раковины, сквозь которыя струили себя свѣты дневные, были вдѣты массивныя серьги – серебряныя, въ срединѣ коихъ покоилось по одному темно-багряному камню; ожерелье изъ жемчуговъ украшало длинную и тонкую ея выю, а талія была окольцована золотымъ обручемъ, пусть и въ меньшей мѣрѣ, но также сіявшимъ въ лучахъ Свѣтила; въ каждой рукѣ было по браслету; ноги были, видимо, прикрыты колоколоподобной юбкою до пола – но едва ли кто обратилъ на сіе свое вниманіе. – Взоры собравшихся мужей (большая часть возставшихъ была мужского пола) приковывали не сіи безподобныя украшенья, плоды критской работы, славной во всёмъ восточномъ мірѣ, но перси размѣровъ несказанныхъ, нѣкимъ чудеснымъ образомъ сочетавшіеся съ точеною ея фигурою: приковывали, чаруя очи и сердца, манили и восхищали. – Богиней предстала она, властная и надменная, величавая, съ неспѣшными движеньями, подобная статуямъ временъ много болѣе позднихъ, пышногрудая. И подъяли руцѣ къ небу жрицы, къ началу отчему, словно взыскивая его, ибо сами были плоть-во-плоти, дщери Матери и земляныя лона, и въ неподвижности застыли, словно претворившись въ статуи. Толпа словно забыла, зачѣмъ пришла. И восторгъ отъ узрѣннаго заступилъ, и исчезло ярое недовольство властью. Таково было дѣйствіе высшей жрицы. И загоготала мужская часть толпы, недовольно перегля-

дываясь межъ собою, и воздѣла изсохшія и жилистыя свои руки ко Дворцу, глядя на недвижную Атану съ почтеніемъ.

– Атана, Атана, высшая изъ рожденныхъ, – кричала толпа, – богиня во плоти, ниспошли намъ дары божескіе, яви милосердіе хотя бъ и на мигъ единый. Знаемъ мы наказъ людей вящихъ, брошенный намъ: «Землю пахайте: и какъ можно лучше. Усерднѣе, усерднѣе!». Но нейдутъ, нейдутъ всходы. Смилуйся, о Превысокая!

Иные кричали: «Хлѣба! Хлѣба!»; имъ вторили иные, прося также и вина. Но чаще слышно было: «Великой богинѣ – слава!». Остальные не находили, что сказать, и были благодарны за самую возможность лицезрѣть богиню.

И услышала Атана вопли черни, и подняла хлѣбъ въ десницу (то былъ то ли критскій, то ли покупной хлѣбъ, то ли хлѣбъ изъ закромовъ царевыхъ) и бросила его въ толпу. Взревѣла толпа, ибо старецъ подобралъ упавшій хлѣбъ, жадно, обѣими руками, ввергая его въ уста свои съ проворностью необычайною. Навалилась толпа на старца. И раздавила его.

Бросила Атана еще три хлѣба. И случилася бѣда: толпа стала грызть самое себя; билися: и старъ, и младъ; и дѣвы, и мужи; и дитяти, и старцы. Многіе, многіе были биты тяжко, иные убиты.

И – прорѣзая вопли толпы – гласомъ громкимъ возопила Атана:

– Слово есть къ толпѣ: кто главарь?

Молчала толпа; и волновалась головами своихъ членовъ, какъ волнуются волны на лонѣ морскомъ.

Грозно продолжала Атана и воздѣла руцѣ къ небу:

– Благословеніе Матери и прочихъ богинь будетъ до вѣка на томъ, кто откроетъ тайну: кто предводитель вашъ? Премного зачтется тому за дѣянье сіе.

Снова – сквозь гулъ собственный – отвѣтствовала было чернь молчаньемъ, хотя всего болѣе боялась толпа, что отыметъ она руку Свою, и прекратятся хлѣбы ея. И возопилъ людъ къ ней со словами «Пощади». Ибо медоточивыми представлялися народу рѣчи Атаны: обольщала она сердца и желудки; не видѣли яда подъ устами ея.

И вотъ одинъ изъ возставшихъ, мужъ, густобрадый и рослый, съ кожею смуглою, симъ напечатлѣньемъ Солнца южнаго, съ венами набухшими и видными издалече, тѣлосложенья геркулесовскаго, съ очами жадными до блѣдныхъ и пышныхъ дѣвьихъ тѣлъ, широкоплечій, облика некритскаго, съ волосами по всему тѣлу (волосы его напоминали виноградныя лозы), нѣсколько тучный, быковидный и словно быколикій, находящійся ближе прочихъ къ Атанѣ, переводя взглядъ отъ черныхъ ея кудрей, ниспадавшихъ ниже плечъ, то – съ жаромъ большимъ – къ пышнымъ ея персямъ, ничѣмъ не прикрытымъ, бѣло-блистательнымъ, походившимъ на вымя, съ сосцами кровяными, пожирая ее взглядомъ (на что она не обратила никакого вниманія) гласомъ едва ли по-критски низкимъ, изрекъ, ею околдованный, плѣненный, прельщенный: «Сито Потніа!»; что означало: «Владычица хлѣбовъ». Непонятныя слова (ибо сказаны они были на ахейскомъ, греческомъ языкѣ, иногда уже встрѣчавшемся на Критѣ въ тѣ времена) облетѣли топлу; запомнились; прижились: ибо была впослѣдствіи причислена та, что была верховной жрицею, къ сонму боговъ.

Тѣмъ временемъ, мужъ, околдованый Атаною, крикнулъ:

– А ежель скажу, о державная, обласкаешь меня? Ибо красою бросилась ты мнѣ въ сердце, о прекрасная.

Ропотомъ отвѣтствовала толпа.

Атана съ надменствомъ отвѣтствовала, вонзивъ льдяныя свои очи въ мужа того:

– Я отдамся тебѣ и дозволю тебѣ познать меня, по милости Всевысшей изъ богинь, познать мой ледъ. Такъ кто? Кто? Отвѣтствуй немедля! И тогда будешь мною укрощенъ.

Однако медлилъ страстотерпецъ: сей алчный до бѣломраморной ея плоти боролся съ собою, потупивши очи. Но снова взглянувъ на нее и возгорясь безмѣрно, хрипло произнесъ, вновь потупивъ очи:

– Акай, Акай Пришелецъ, что стоитъ одесную меня. Се – онъ, о державная, – тутъ указалъ онъ на Акая.

Жестокая улыбка осіяла бѣлокаменный ея ликъ.

– Я покорена твоею честностью и твоимъ благородствомъ. Ты – не они: ты чтишь богинь. Ей, гряди ко мнѣ, быкъ, я приласкаю и укрощу тебя: се, священный мой долгъ предъ Матерью всего сущаго. Воля моя верховна, мужъ, и грядущія мои терзанія уродливо-излишне-мощной твоей плоти – моя добродѣтель, – говорила она, полнясь яростью, подобясь свирѣпѣйшей Кибелѣ, всегда алчущей крови. – А кто сомнѣвается, тотъ да узритъ сіе: такова воля Высшей Богини. Я укрощу и усмирю быка. Я укрощу и смирю и буйство плоти его.

Атана вскорѣ молвила на ухо мужу, ею околдованному, обдавши его хладомъ и прикасаясь пышными своими персями, отчего всё болѣе и болѣе разгорался онъ, словно жарясь въ мѣдномъ быкѣ иль словно претворяясь въ пламень:

– Благородство и достоинство не въ томъ, чтобы спорить съ Судьбою, стязаться съ Нею и – того болѣ – биться съ Нею, но въ томъ, чтобы сперва ей покориться, а послѣ – пользоваться великими Ея дарами, для человѣка преблагими, и преблагословенными, и всесладкими: пользоваться, избѣгая Ея ударовъ. Ибо мудрость и польза всегда идутъ рука объ руку. Помни: Судьба – жестъ и взмахъ Матери, когда Ей неугодно являть себя въ обличіи.

Близилась близость – завѣтное и святое помраченіе какъ неисповѣдимый даръ судьбы, владычное надо всѣмъ живымъ, отторгнутымъ небесъ, поверженнымъ долу и отъ вѣка и до вѣка слѣпымъ, елей для слабыхъ, позорно-мелкихъ сердецъ, пламенѣющихъ другъ другомъ и сгорающихъ въ Мы, чадная заря грядущаго. Обманнымъ луннымъ свѣтомъ манила Атана, выдвигая неподвижное бѣлоснѣжное лицо и тучныя перси. Губы – какъ кровь, лицо бѣлое, черные волосы – какъ змѣи. И Змѣи сидѣли на волосахъ. Глаза мужа, вперенные плотью въ плоть, глаза – гулы плоти, блистали, метали молніи, прожигали её; недвижные ея очи, напротивъ, – ледынь, метель, пурга. Повелительно-неспѣшно указала перстомъ Атана на внутренніе покои и застыла: какъ соляной столпъ. Черно-красное ширилось и словно прожигало пространство. Остріе страсти вовсе не сладко пронзило мужа: зовъ ея, дѣвы хладной, какъ безпросвѣтная метель, какъ снѣжная пурга, отозвался въ немъ добѣла раскаленнымъ пожаромъ, мракъ ея разрѣшился чадящимъ свѣтомъ, а величавый ея покой – его безпокойствомъ-безуміемъ. Ушедши въ покои, оба, однако, не скрылися изъ виду толпы; толпа могла лицезрѣть имѣющее быть. И былъ мужъ сей быкомъ красноярымъ, а Атана – львицею: терзающей быка. Мрѣвшій аэръ пронзили слова: «На колѣни, мой рабъ». Повергся долу мужъ и – падши – поклонился ей. И – поклонившись – палъ, поверженный. Ликовала Сѣверъ-дѣва, возрадовавшись въ сердцѣ своемъ, и горѣлъ въ ней огонь страстности безстрастія.

Одежды упали наземь, бѣлизна плоти – точно мраморъ. Онъ не приближался къ ней, а наступалъ – какъ быкъ. Глянула взоромъ смертоноснаго презрѣнія и равнодушія – молнія ударила въ душу и принудила мужа страстно и властно прижать къ себѣ Атану, недвижную и прекрасную, какъ Смерть. Пали на ложе, свивались тѣлами. Змѣею обвила она мужа, неутолимо сопрягшагося съ нею.

Можетъ показаться: Грѣхъ говорилъ Атаною, а болванъ говорилъ Акаемъ, – на дѣлѣ всё было не столь просто: для мужа, околдованнаго Атаною, въ мигѣ томъ была – вся Вѣчность – всё, всё, всё: вся жизнь была тьмою, а нынѣ была она свѣтъ; была она морокомъ, а нынѣ – сіяніе, сѣверное сіяніе; вѣсь смыслъ жизни горѣлъ въ мгновеніи полыхающемъ: сперва стукъ Судьбы въ дверь, послѣ – мучительныя и черно-красныя метанія, послѣ – послѣ пораженія – безумящее вожделѣніе, огнедышащіе потоки похоти, впрягающей сердце въ ярмо, страсти взрывъ, молнія чувственнаго, рождающая помутнѣніе разсудка, далѣе – лобзанія, огнь, ярость, руки,

перси, стенанія, судорожное движенье чреселъ, напряженіе, изступленьѣ, содроганія, похожіе скорѣе на судороги, змѣиные извивы плоти дѣвы, нехватка воздуха, мѣрные внутренніе дерги влагалища, сѣмя раскаленное, изнеможеніе, – спиралевидная симфонія льда и огня: цѣною жизни Акая, цѣною общаго дѣла, цѣною души сего мужа…

Падшій сей мужъ, однакожъ, менѣе всего ощущалъ сіе какъ паденіе: плотяная призма всё, относящееся въ міру духа, видитъ не только въ дурномъ свѣтѣ, но и часто, слишкомъ часто въ свѣтѣ противоположномъ: плотяность – слѣпота воплощенная. Плоть ничего не вѣдаетъ, будучи слѣпой въ мѣрѣ высшей, но всего алчетъ; духъ всё вѣдаетъ, но не алчетъ ничего. – Для плоти паденіе то – не паденіе, но надмирная прелесть, восхожденіе къ далямъ надзведнымъ, касаніе божественныхъ гармоній. Для духа паденіе то – колѣнопреклоненное нисхожденіе – кубыремъ – къ самымъ низинамъ трона создавшаго, откуда и не видно павшему: лукавой улыбки творца.

– Насытился ли ты мною, о быкъ священно-терзаемый? – по-змѣиному лукаво спросила Атана.

– Нѣтъ, о богиня! Нѣтъ! Возможно ли сіе? Готовъ я снова предать себя въ пречистыя твои руцѣ, – взволнованно отвѣчалъ мужъ.

– Мной никто никогда не насыщался, – сказала Атана, полнясь критскою улыбкою и тыкнувъ въ него лабрисомъ, которымъ она – священнодѣйствуя – игралася съ нимъ: лабрисъ указывалъ на великую ея власть: надъ жизнью и смертью быколикаго, быкообразнаго сего мужа: мужа-быка.

– Въ мигѣ томъ была Вѣчность, но Вѣчность оказалася мигомъ. Ты Луною была, а я – Солнцемъ.

– Да, познавшему меня Жизнь уже и ненадобна; и Солнце, кланяясь Ночи и Лунѣ, когда нисходитъ за окоемъ, есть жертва вседержавной владычицѣ Ночи – Лунѣ, багряно-кровавой, святой, оно – законная ея добыча.

– Не зрѣть тебя болѣ было бъ еще хуже, чѣмъ Жизни лишиться, ибо когда взиралъ на тебя, вѣсь мой взоръ… Всё за тебя, всё…Располагай жизнію моей, о вседержавная!

– Какъ зовутъ тебя, страстотерпецъ? – вновь лукаво, что было всегда ей присуще, вопросила Атана, очи чьи словно противополагались устамъ ея: очи – ледъ, уста – улыбка, пламя, жизнь.

– Загрей.

– Отвѣтствуй: грекъ ли ты еси?

– Да, родомъ изъ Микенъ.

– Оно и видно.

Атана размышляла, видя пылъ сего мужа: оставить ли его въ живыхъ или нѣтъ. Склонялась къ первому. Тѣмъ временемъ, многіе прочіе мужи полѣзли во дворецъ, но были разстрѣляны дворцовыми лучниками.

Атана жестомъ повелительнымъ приказала мужу бороться противу бывшихъ его союзниковъ. Тотъ съ радостью то исполнялъ; и рада была высшая жрица. Угроза для дворца миновала. Въ тотъ же день, часами позднѣе, Загрей, хотя и усталъ, но снова возжелалъ Атану, глядя на нее съ нагло-тупымъ вожделѣньемъ, словно не растративъ вѣсь избытокъ могучихъ своихъ силъ. На сей разъ взглядомъ, исполненнымъ не презрѣнья, но нѣкоего довольства, скорѣе теплаго, чѣмъ хладнаго, отвѣтила казавшаяся богинею недвижная, застывшая дѣва; но и это лишь раззадорило мужа. Снова на нее набросился мужъ, пылая любовію, увлекая её въ многомощныхъ своихъ объятьяхъ; снова черно-красное множилось, и время словно сжималось, а свобода истаяла, испарилась. Многострастными лобзаньями покрывалъ Загрей мраморное тѣло жрицы. Пронзалъ её онъ плоть – вновь и вновь; покамѣстъ и она не пронзила его: лабрисомъ. Кровью насыщалася свирѣпая жрица, дѣва-Земля.

Атана предстала Ариманомъ: въ женскомъ обличьѣ. Ибо была она если и не мыслью, то воплощеннымъ чувствомъ Матери.

Мужа того видали – и видали не разъ въ окрестныхъ лѣсахъ: послѣ того. Не на него похожаго мужа, но его самого.

* * *

Виднѣлись: темница изъ чернаго камня, въ кою едва проникали лучи свѣта, нѣсколько фигуръ, Акая лицо окровавленное – не поникшее и не потухшее, но гордое и злое не злобою, но великимъ напряженьемъ могучихъ силъ его, – рубаха разодранная, валявшаяся на полу каменномъ.

– Приступимъ, да скажешь многое утаенное, бородатый, – сказалъ первый палачъ, исполнявшій также и роль мучителя, пытающаго пытаемаго.

– Ты, ты возстаешь противу богами данныхъ законовъ? – вопросилъ Акая второй, что обликомъ былъ мрачнѣе ночи.

Акай молчалъ.

– Возстаешь противу славныхъ нашихъ порядковъ? Противу обычаевъ, установленныхъ въ древности незапамятной самими богинями? – продолжалъ второй.

Но молчалъ Акай.

– Эй, брадатый, чего отмалчиваешься? Шкуру сдерутъ съ тебя – дѣловъ-то! Покайся, говорю, – посмѣиваясь говорилъ первый. А второй добавилъ: – Хуже вѣдь будетъ. Отложись, говоритъ, грѣха своего! Не то кончимъ того, кѣмъ бунтъ дѣется: тебя. А прочихъ мы уже побили. А иной людъ и такъ нашъ, критской, за возставшими не убѣгъ онъ. Такъ что покайся, а не лайся!

Хрипя, тихо произнесъ Акай, не глядя на нихъ, и кровь сочилась изъ ранъ его:

– Эти, легковѣрные, народъ сей, заслужили Касато, а Касато заслужилъ ихъ: на многая лѣта; низкое да не ждетъ высокаго, а высокое да не ждетъ низкаго. Владѣетъ онъ міромъ, думая, что онъ – путь, но онъ не путь, но лишь путы, и распутье, и распутица.

Напротивъ стояла, гордо подбоченясь Атана, торжествующая и радующаяся въ сердцѣ своемъ. Взирала: звѣремъ; улыбалася: великимъ его страданьямъ; краска залила мраморное ея чело: краснѣла: отъ удовольствія жесточайше-сладострастнаго. Обликъ ея былъ поистинѣ ужаснымъ.

Слышались: немѣрно вспыхивающіе стоны, вскрики, прорѣзающіе мѣрность неумолимыхъ ударовъ, претворяющихъ спину Акая въ кровяное мѣсиво.

Чувствовался – чрезъ нѣсколько времени: запахъ горѣлаго мяса.

Акаю думалось: «Близится послѣдній часъ; я потерпѣлъ пораженіе: не по волѣ собственной и не въ силу собственныхъ ошибокъ, но потому лишь, что повѣрилъ въ тѣхъ, въ кого вѣрить было нельзя. Однако дѣло мое не сгинетъ – да не сгинетъ! – въ прорвѣ вѣковъ, даже ежли имя мое будетъ забыто вѣками, ибо я разбудилъ ихъ ото сна».

Зрима была: отаями смысловъ ниспадавшая лазурь…

Виднѣлся на тверди небесной: облакъ, походившій на Лабрисъ: посреди кристально-голубого неба.

Когда свѣтъ жизни исшелъ изъ Акая, Атана произнесла:

– Во имя богинь. И всего пуще: во имя Матери!

Послѣ же, со взоромъ, болѣе подобающимъ эриніи во время злодѣяній ея, нежели смертной, Атана произнесла нѣкія таинственныя не то заклинанія, не то и вовсе полубезсмысленныя слова, словно глаголя нарѣчіемъ міра подземнаго.

Ликъ помертвѣвшій – Акая – виднѣлся посередь пыточнаго застѣнка. А за нимъ – опустѣлая тѣмъ временемъ площадь съ истоптанною землею, съ засохшею кровью, съ разбросан-

ными то тутъ, то тамъ оборванными рубахами, площадь, на которой виднѣлись: обезображенныя тѣла погибшихъ, которыхъ безпорядочно складывали (по недостатку опыта въ подобныхъ дѣлахъ), съ застывшими, окаменѣвшими ужасомъ лицами: масками Смерти; лица, на которыя взгляни – и самъ погибнешь: ужасъ отъ встрѣчи съ Нею перешелъ бы и на самого взиравшаго; иные – со скрюченными пальцами, словно тянущимися къ хлѣбамъ земнымъ. Кровь засыпали песочкомъ – прочь отъ страшнаго: засыпалъ – и не было ничего. – Главное правило не только критскаго искусства, но и всего критскаго бытія было: не изображать, но утаивать наиважнѣйшее, почитавшееся священнымъ: рожденіе, соитіе, смерть; боговъ (кромѣ Великой Матери); царя и царицу.

Свинцовая полутьма нависала надъ Критомъ. Курносая и оплывшая харя на него наступала: носомъ, – вослѣдъ сплоченному стаду тучъ-бычковъ, неложныхъ вѣстниковъ великихъ грозъ. Тишина, сгустившаяся надъ землями добрыхъ, – какъ оглушенность, какъ молотъ. Громы зыблемой въ пропасть эпохи до времени зрѣли незримо, пучась: смертью минойскаго Крита. – Молнія уже бродила по упадающему Криту: съ мечомъ.

Глава 2. Послѣ смерти Акая, или на чуждыхъ брегахъ

Satis sunt mihi pauci, satis est unus, satis est nullus
Сенека

Procul este, profani
Вергилій

Адъ – это другіе
Сартръ

Акай былъ пробудившимъ народъ. – Можно вести споры, благо ли сіе или же зло, но онъ содѣялъ это: самолично и вопреки. То была задача многотрудная; многотруднымъ было и положеніе новаго предводителя, весьма юнаго по сравненію съ лѣтами Акая: ибо хотя народъ и былъ разбуженъ, усилился не токмо народъ, но въ мѣрѣ большей братья критскіе, получившіе подкрѣпленіе. Несмотря на смерть Акая, на мигъ затихшее было возстаніе, вспыхнуло съ силою новою, съ новымъ напоромъ; не смолкло оно, но множилось и ширилось. И множилось и ширилось оно милостью М. (такъ звали героя юнаго). М. отличіе отъ Акая, бывшаго и зачинщикомъ возстанія, и его мозгомъ, и полководцемъ, воеводою, сражался въ первыхъ рядахъ – не изъ долга, но по собственному манію: провѣряя поистинѣ безграничные предѣлы своихъ силъ: такова была воля его. Такимъ образомъ, для М. возстаніе, къ которому присоединился онъ послѣ пораженія при Кноссѣ, было провѣркою себя и испытаніемъ, но никакъ не дѣломъ жизни, какъ то было въ случаѣ Акая.

* * *

Рѣчи напыщенныя и горделиво-надменныя произносилъ новый глава братьевъ критскихъ. Во главѣ критскаго воинства стоялъ нѣкто Аретавонъ, недавно поставленный по волѣ Самого (какъ то было принято говорить тогда на Критѣ), любое волеизъявленіе котораго почиталось священнымъ, и вотъ что онъ говорилъ, полнясь мощью грозною:

– Я исполняю волю Касато Мудраго, Сына Земли. Онъ глаголетъ – я дѣю. Онъ много мудрѣе и мощнѣе Предыдущаго. Это во-первыхъ. Насъ въ разы больше, нежели возставшихъ: вѣсь Критъ благородный станетъ стѣною супротивъ презрѣнныхъ рабовъ, взбунтовавшихся по волѣ одного – Акая. Но Акай мертвъ, и во главѣ возставшихъ уже не онъ, – сказалъ онъ,

сплюнувъ съ презрѣньемъ, – полководецъ мудрый, но юноша. Юноша, слышите ли? Повѣрьте услышанному и возьмите въ руцѣ мечи: того проситъ святый Престолъ и держава, отчизна наша. Это два и три. На сей разъ мы должны побѣдить. Это четыре. Пять: ежель кто изъ васъ, – вѣщалъ онъ громогласно и съ огнемъ въ очахъ, обводя всѣхъ, кого могъ видѣть изъ братьевъ критскихъ, – посмѣетъ убѣжать, какъ то сплошь и рядомъ встрѣчалось ранѣе…

– Не посмѣемъ, о повелитель! – громогласно вопіяли братья критскіе.

– Молчать! Не перебивать и внимать!

Воцарилось молчаніе, невиданное для критской пѣхоты. Оглядѣвъ многихъ изъ собравшихся, выдерживая гнетущую солдатъ паузу, зависшею тишиною мертвою въ расплавленномъ аэрѣ, усиливая тяжесть послѣдняго, предводитель продолжалъ, луча пламень, что долженъ былъ, по его мнѣнію, вселить мужество въ трусливыхъ воевъ Крита:

– Ежель кто изъ васъ посмѣетъ вновь бѣжать съ поля брани, – вамъ слѣдуетъ повѣдать, что сіе есть безчестіе и что сіе – Смерти хуже, – того настигнетъ мѣдь всеразящая созади. Впереди будете сражаться вы, а созади будутъ стоять мои люди, съ луками и мечами наизготове. Посему помните въ нелегкій часъ: вы падете въ любомъ случаѣ! Но падете въ руцѣ Матери, если не дрогнете. Я заставлю васъ понять, что такое честь воинская и воинская доблесть.

– Слава Криту! – слышалось изъ всѣхъ устъ воевъ.

– Криту Слава! – отвѣтствовалъ ихъ предводитель. – Такъ падите же съ честію въ бою яростномъ: смертью храбрыхъ. И падите въ руцѣ Матери всего сущаго. Обрушимся на отступниковъ отъ священныхъ нашихъ обычаевъ: рѣкою, лавиною. И поглядимъ, какъ устоитъ нарицаемый «непобѣдимымъ» юнецъ.

* * *

Вдали виднѣлися нищіе, стонущіе, грязные, смердящіе, жившіе при торжищѣ, гдѣ Грѣхъ виталъ незримо, но при томъ всеотравляюще, или же тѣнью стелился онъ. Тоска смертная разлита была по бытію, и надо всѣмъ реяло лишеніе. Можно было увидать одного изъ смотрителей рынка: тотъ отнималъ украденную кость. Нищій съ кирпичнаго цвѣта кожей кричалъ:

– Не отдамъ! Не отдамъ! Душу возьми, не отдамъ.

И билъ онъ себя по груди, кость потерявши и рыдая: силился онъ молвить нѣчто призывное, нѣчто бунтовщическое, но былъ для того слишкомъ слабъ. Иные изъ проходившихъ плевали въ его сторону. Однакожъ онъ возопилъ – но тихо, межъ своими, отвернувшись отъ торжища:

– Матушка-Родительница, помози намъ, бѣднымъ, нагимъ, хромымъ. Обездоленные, мы не требуемъ: мы просимъ. Сіи, – говорилъ онъ, указывая въ сторону рынка, – боговъ забыли. Ты имъ ниспошли бѣдъ, да знаютъ богинь, милостивыхъ нашихъ заступницъ. Обидь обидящихъ и низвергни низвергающихъ, о Ты, Мати всего сущаго, Дѣва Премудрая, Чистая, Высочайшая. Вступись за насъ, о, вступись.

Иные изъ нищихъ лицами озлобленными глядѣли на площадь рыночную, и выдвигали носы, и тыкали пальцами въ сторону обидчиковъ. Иные попрошайничали во имя Великой Матери. – Ничто не напоминало адъ лучше, чѣмъ сія пародія на рай, ибо раемъ кажется минойскій Критъ тѣмъ, кто во времена оны тамъ не жилъ.

Въ это же время проходилъ по площади и М. Онъ направился прочь отъ суеты, удаляясь отъ міра и мира, – ближе къ немолчношумящему лазурному морю. Возлѣ дома нѣкоего виднѣлася: собака, больная и злая, воющая порою отъ неизбывной боли собственнаго существованья. Возлѣ хозяйка, вышедши изъ дому, выплескивала помои, бранясь и причитая. И слышались стенанія человѣческія, стенанія вечностраждущихъ исчадій дольнихъ сферъ. Крѣпчали жары, рожденные жестокимъ Солнцемъ.

Шедши, М. думалъ: «Всегда, всегда былъ стенающій, горестный и гореродный сей людъ, всегда; всегда было горе, разлитое по человѣческимъ судьбамъ, и безъ того скорѣе горькимъ, нежели сладкимъ; и печали, и нищета, и всѣ гнусныя сіи лица. Всё повторялося, вертѣлось возлѣ точки незримой. Всё повторялося…и будетъ повторяться вовѣкъ…О поступь дней и годинъ! Гнетъ – и здѣсь, и тамъ: вездѣ. Пройдетъ десятокъ круговертей Колеса Бытія – и всё то же: ложь, словно язвящая чадъ рода людского, повязанныхъ между собою, да бѣдность крайняя, жестокая въ силѣ своей, облаченная въ ризы ложныя…всё – прахъ. О духъ мой! Обезличили меня бѣдные духомъ, но нынѣ я таковъ, каковъ я есмь: благодаря себѣ самому и Ей».

Скорбь и боль исходила отъ лика его. Темнолонный Критъ щерился бездною, оскаломъ звѣринымъ. Казалось ему: пространство вперило очи: въ него.

Мраморно-блѣдная скорбь въ грязно-сѣро-бѣломъ своемъ одѣяніи и понурая ея тѣнь лежали на всѣмъ, что только видно было глазу, и мѣрно пѣло сердце скорби; вездѣ, вездѣ царила несвобода, черная – какъ ночь, вѣчная – какъ тьма; тоска была разлита по бытію, и, предавшійся печалямъ многимъ, хмуро взиралъ на М. день…

Изнеможенный, снѣдаемый скорбями, заточенный въ печаль, герой младой присѣлъ и возрыдалъ, истомленный мыслями такого рода. И былъ онъ вдали отъ нечестиваго дыханья неистовствующей въ своемъ безсиліи черни и жрецовъ пустословящихъ: жрецовъ божествъ земныхъ, служащихъ богу слѣпому. Былъ онъ вдали отъ сильныхъ міра сего, богатыхъ, знатныхъ, ибо и ихъ вѣянія были герою чистому непріемлемы: вѣянія съ припахомъ алканья лишняго злата и сребра, ѳиміама и амброзіи, камней драгоцѣнныхъ, малыхъ и большихъ. Окинувъ зракомъ гордымъ пространства окрестныя, изрекъ:

– Надежда моя, казалося, во прахъ низложена; и мечта едва жива. Я не творилъ зла, не созидалъ боли: я чистъ, я чистъ, я чистъ. Но да буду я не чистъ во вѣки вѣковъ: для прислужниковъ божествъ слѣпыхъ и рабовъ, – я, скиталецъ, тронъ чей – небеса вечнолазурные, а не земля. Важнѣйшее дѣется вдали отъ суеты, въ тиши, и се – гряду тамо.

Темной и жестокой казалася М. критская жизнь. Уходилъ онъ прочь отъ смрадныхъ сихъ мѣстъ, но еще долго слышалъ онъ «Богиня-Мать, рождающая всѣхъ и вся, всѣхъ и вся пріемлющая въ лоно свое, заступница, отжени…помози…» да звуки ударовъ плетьми да палками; и невѣдѣньемъ слѣпымъ полнилося пространство. Всё словно просило его проснуться ото сна именемъ жизнь. Ежели онъ бы прислушался къ велѣнію тѣла, онъ бы бѣжалъ: въ лѣса, поля, къ морю, въ море, на гору, подъ гору. Но въ это время онъ по волѣ собственной дозволилъ себѣ впасть въ руцѣ если не тѣла, то души: шелъ онъ куда глаза глядятъ: прочь отъ міра. Увидавши далече море, слѣпящую его бѣлизну, онъ вспомнилъ и, глядя на Востокъ, воскликнулъ:

– Тамъ, тамъ было еще хуже. Если здѣсь скотство, покорное и смирившееся (ибо сбросивъ цѣпи плоти, они не сбросили цѣпи духовныя: они возстали плотью на плоть, но духъ ихъ скованъ, какъ и прежде, ибо въ нихъ нѣтъ духа), то тамъ – адъ. Если здѣсь Жизнь претворилась въ торжище, то тамъ она помои огненные. О усталое многохраброе мое сердце, скоро, скоро вернешься ты въ землю обѣтованную: въ небесную обитель. О, нестерпимо, нестерпимо, Отче, всеведающій, неузрѣнный, неизглаголанный, яви, яви Свѣты всепронзающіе; ниспошли мнѣ силу величайшую сообразно твоему величеству. Ибо нѣтъ силъ, нѣтъ силъ для вящаго.

Единственное, что удерживало М., съ позволенія сказать, здѣсь, былъ онъ самъ, его любовь не къ себѣ, но къ своему Я, первому изъ рожденныхъ Я на свѣтѣ, самоуваженіе и нѣкоего рода любопытство, ничего общаго съ любопытствомъ базарной бабы не имѣющее: ему было важно для себя вѣдать: что возможетъ онъ содѣять, что ему по плечу, а что выше силъ его.

Стремительно шелъ онъ, рѣжа пространства окрестныя. Быстро добрался онъ до тѣхъ мѣстъ, съ коихъ можно наблюдать ширь морскую сверху. Но пѣло море: волнами: «Безъ-време-нье!». Словно въ теченіи времени не отражалась Вѣчность болѣ. Словно время болѣе не было влекомо судьбою – ни къ концу своему, ни къ началу. Словно лазурь стала отнынѣ бездомною.

И глядѣлъ М. на гору; въ снѣжное убранство одѣянная на вершинахъ своихъ, была она слѣпительно-бѣлою, яко Солнце; прорѣзали верхи ея облаки темные, иные черные; и были тѣ облаки – какъ надгробья: прежняго міра; и слышенъ былъ далекій громъ. – И казалося М., что нынѣ, нынѣ уже началася брань межъ Добромъ и Зломъ, между горячо любимыми имъ Небесами и презрѣнною Землею. Чуялъ онъ сердцемъ дыханье надвигающагося; надвигающееся пылаетъ огнемъ, но огнь – огнь зорь: зорь новаго, небывалаго; но сіе новое, небывалое – кто знаетъ? – просверки, всполохи тамошняго. Но вскорѣ ему думалось иное: «Едва ль она, сѣча, окончится, ибо всё по кругу незримому шло, идетъ и будетъ идти: и Время, и Судьба, злыя, крутятъ Колесо Бытія, и мѣрный его ходъ поглощаетъ всё – часъ за часомъ, день за днемъ, годъ за годомъ: безслѣдно годины ниспадаютъ въ рѣку забвенья, безслѣдно и мѣрно».

Мѣрно билися волны о брегъ, осіянный мрѣвшимъ Свѣтиломъ, пустынный, раскаленный, – да такъ, что аэры надъ нимъ словно метались въ огнедышащемъ удушьѣ и мерцали подрагивая. М. подумалось, что Солнце, заливающее всё вокругъ, использовало море въ своихъ цѣляхъ, а Солнце – въ свою очередь – использовалось Нѣкимъ Безымяннымъ, отъ Коего всё, всё зависитъ, рабствуя непробудно, незакатно. Небеса, Свѣтило, ширь морская и брегъ – и ничего болѣе! – застилало очи, ихъ слѣпя: Вѣчность дольняя, и въ самомъ дѣлѣ мѣрная отъ вѣка, взирала на М. Мѣрность прорѣзалъ суетливый, хаотическій летъ чаекъ и прочихъ птицъ прибрежныхъ, обогащая описанное словно измѣреньемъ новымъ.

Пыланье аэровъ принуждало не стоять на мѣстѣ и – пасть въ лоно моря, въ лазурную нѣгу водъ, въ вѣчно-колеблемую пустыню, казавшуюся междумірьемъ…Ему подумалось тогда: «Море – загробное царство, и нѣтъ здѣсь мнимо-живыхъ; пѣнье его – словно шопотъ горней моей любви». И се – стремглавъ несся онъ въ низины, ведущія къ брегу морскому, и палъ онъ въ плоть морскую. И услышалъ онъ пѣснь немѣстную, далекую – какъ Солнце, но вмѣстѣ съ тѣмъ и близкую, могущую быть исполненной лишь однимъ человѣкомъ. И душа его дышала пѣснью, и стала душа пѣснею. И возликовалъ М. въ сердцѣ своемъ. Вѣтры билися о многомощную его плоть, но, біясь объ нее, ее не проницали. М. возгласилъ:

– Я люблю васъ, вѣтры, приходящіе изъ морей, люблю, когда вы нашептываете мнѣ: «Ты – Иной». Благодаря вамъ я лишь ярче разгораюсь; мнѣ подобаетъ свѣтить ярко, либо же не быть вовсе. Въ мигъ сей я не опасаюсь въ сердцѣ своемъ разъяренной злости Судьбы, яри ея и когтей.

И, поднявшись вновь на гору, сквозь терніи – къ не казавшимъ еще себя звѣздамъ, всё далѣе и далѣе отъ рода людского, отъ шумовъ и суетъ, поднявши главу къ Солнцу, М. возгласилъ, глядя на разстилающіяся внизу пространства, словно бытующія подъ пятою его, словно поверженныя:

– Къ закату сего дня…Солнце на Западѣ зайдетъ, какъ и во всякій иной день, и се – заступитъ Нощь…И въ нощи пребываетъ міръ, покамѣстъ не узритъ Свѣтъ, имѣющій придти съ Востока. Азъ есмь тотъ свѣтъ…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.